

Б И Б Л И О Т Е К А

**ОГОНЁК**

№ 18

1971



*Анатолий КАЛИНИН*

**РОЖДАЯСЬ В ШАФРАННОМ  
РАЗЛИВЕ ПЕСКОВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»  
М О С К В А



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 18

Анатолий КАЛИНИН

РОЖДАЯСЬ В ШАФРАННОМ  
РАЗЛИВЕ ПЕСКОВ

Издательство «ПРАВДА»  
Москва. 1971

## Анатолий КАЛИНИН

Анатолий Вениаминович Калинин родился в 1916 году в станице Каменской, Ростовской области, в семье учителя. Детство и юность прошли на Дону, жил и учился в слободе Тарасовской, в городах Миллерове и Новочеркасске. Живет и сейчас на Дону, в хуторе Пухляковском.

К литературной работе приобщался через газету. Работал в районных и областных газетах Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, а с 1935 года — собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Кабардино-Балкарии, в Армении, на Украине, в Крыму и снова на Дону. Отсюда ушел и на фронт военным корреспондентом «Комсомольской правды».

Автор очерков «На среднем уровне», «Лунные ночи», повестей и романов «На юге», «Суровое поле», «Эхо войны», «Запретная зона», «Цыган», «Гремите, колокола!», «Возврата нет». Член КПСС.

---

Анатолий Вениаминович Калинин

РОЖДАЯСЬ В ШАФРАННОМ РАЗЛИВЕ ПЕСКОВ

---

Редактор — П. А. КРАВЧЕНКО.

Технический редактор Я. М. Борисов.

---

Сдано в набор 28/VII 1971 г. А 00604. Подписано к печати 8/IX 1971 г. Формат бум. 70×108<sup>1/2</sup>. Объем 2,10 условн. печ. л. 283 учетно-изд. л. Тираж 100 000. Изд. № 2004. Заказ № 1648.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,  
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

## РОЖДАЯСЬ В ШАФРАННОМ РАЗЛИВЕ ПЕСКОВ

Еще не остыла на окраине только что потрясенной и пробужденной революцией крестьянской России донская земля. Не истухли зарева гражданской войны, и свежи были следы копыт казачьих коней, а ратные могилы, исхолмившие степь между курганами разинских, пугачевских времен, не успели одеться польню. И не всегда можно было понять, то ли это розовая мурава пробрызнула там, где только что витала смерть, то ли еще не вся кровь ушла в землю.

Но уже раздался над этой казачьей степью голос певца, окидывающего ее с самого высокого кургана взором, исполненным скорби, любви и надежды. Его зоркий земляк, автор «Железного потока» А. С. Серафимович, сразу же увидел и распознал в нем молодого орла, расправляющего крылья для полета.

Еще живы многие вешенцы, близко знавшие мать Михаила Александровича Шолохова, простую и мудрую женщину из черниговских украинок, горячо любившую своего единственного сына, но об отце его, торговом служащем, выходеце из бывшей Рязанской губернии, известно меньше. А ведь это был один из культурных по тому времени людей на Дону, книгами из его библиотеки с детства зачитывался сын: Пушкиным, Тургеневым, Толстым, Некрасовым, Чеховым, Горьким. И судя по всему, глубокое романтическое чувство лежало в основе взаимоотношений отца и матери Шолохова. Но без отца остался он рано, жизнь с самого начала не баловала его. Еще подростком попадает в такую «коловерть», проходит такую закалку, которая в его годы выпадала на долю немногих.

Появление Шолохова в нашей литературе было поистине легендарным. В двадцать три года он был уже не только автором книжек рассказов «Лазоревая степь», «Донские рассказы», но и первого тома «Тихого Дона». Однако всему этому предшествовало и раннее возмужание их автора на дорогах революции,

гражданской войны. Чоновцу \* Шолохову было всего пятнадцать лет, когда он со своими товарищами преследовал белые банды в степях Верхнего Дона. Слова Маяковского: «Когда под пулями от час буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них» — вполне бы могли быть взяты из его биографии. Достаточно вспомнить, что юному Шолохову в глаза самого Махно «посчастливилось» взглянуть. Уже обреченного на расстрел чоновца привели к этому батьке, и тот, увидев перед собой совсем еще подростка, решил свеликодушничать. По малолетству и по первому случаю не казнить «вражененка», а милостиво отпустить его с наказом не попадаться больше на глаза.

Знал бы этот гуляйпольский батька, какой вскоре вырастет из этого «вражененка» непримиримый враг всему тому злобному, реакционному, что было начертано на махновском черном знамени и на всех иных антисоветских знаменах, под которые стягивались отребья разгромленного Октябрьской революцией старого мира! В приливе своего самоуверенного великодушия зловецкий батька оказался куда менее дальновиднее, чем те враги Советской власти, которые с появлением «Тихого Дона» сразу же сумели распознать всю мощь и силу его автора и тут же попытались заслонить его от читательских глаз дерюгой клеветы, обмана. Недаром Ромен Роллан писал, что нового гения раньше всего определяют его враги. Добавим, и устанавливают ему действительную цену, ибо истинный гений не может с первых же своих шагов не вступить в борьбу с душителями народа, с силами реакции, мрака.

В те годы, когда Шолохов служил в отряде ЧОНа, в донской степи лилась кровь. И когда из-под его пера вышли книжки «Лазоревая степь», «Донские рассказы», то не только заревом вешних тюльпанов полыхнуло с их страниц. Ничего в них не было недостоверного, а все было увидено, поприобовано на ощупь, пропущено через сердце. Избороздивший казачью степь зигзаг великого классового размежевания, впервые сверкнув по страницам этих рассказов, вскоре найдет свое эпическое выражение и воплощение в романе «Тихий Дон». Можно представить себе, при каком до этого бурном освещении глаза чоновца Шолохова вбирали в себя краски жизни, и он «перелистывал» в себе страницы будущего «Тихого Дона». Точно так же, как через десять лет будет мысленно перелистывать страницы будущей «Поднятой целины». Конечно, это от отца и от матери, от природы он был наделен таким даром. Но только на крутом гребне революционных событий в донской степи мог с такой силой проявиться этот дар. Революция, взбурлившая весь народ, при-

---

\* ЧОН — части особого назначения.

вела в движение и молодые, жаждущие перемен силы, таланты России. Тогда люди в двадцать — двадцать пять лет уже командовали дивизиями, армиями, фронтами. Когда, уже много времени спустя, Шолохов, с восхищением отзываясь о романе «Молодая гвардия» А. Фадеева, заметит, что не сумел бы так написать о молодежи, ему при этом и в голову не придет, что он уже написал о молодом казаке Григории Мелехове, о молодой казачке Аксинье Астаховой и их сверстниках... И если в те годы даже самые честные писатели Запада, подобные Ремарку, автору романа «На западном фронте без перемен», посвящали свои произведения опустошенному войной, «потерянному поколению» молодых людей, то из-под пера советского писателя Шолохова прозвучал голос молодого поколения, ищущего и находящего пути к действительному, а не призрачному счастью.

К такому поколению напряженно ищущих принадлежит и Григорий Мелехов. Сколь бы трагичным ни оказался для него самого итог его исканий, тем же светом, при котором он под конец всматривается в черты своего сына, освещается и та единственная дорога к этому счастью, с которой он сбился в тумане ошибок и обмана.

Те из критиков, что едва ли не брали на себя задачу подсказать Шолохову иной конец «Тихого Дона», почему-то предпочли забыть, что хоть и зигзагообразно движется Григорий по дорогам жизни, срывается, оступается, мечется, а все-таки движется он к единственно возможной для него цели. Иначе и в свой хутор Татарский не вернулся бы он, спустив перед этим свою винтовку под ростепельный, мартовский лед Дона. Реалист Шолохов никогда не злоупотребляет символами, и все же ведь не только весенним мартом были растоплены в то время льды, по которым Григорий, хоть и с запозданием, приходит к берегу новой жизни.

Появление «Тихого Дона» явилось событием для широких читательских масс. Едва ли можно назвать другое произведение, на долю которого выпал бы такой же успех. Дело было не только в неповторимой яркости этой новой звезды, взошедшей на литературный небосклон из глубин донской степи, а и в том, что при ее свете тысячи читателей, рабочих и крестьян, только что вернувшихся с полей сражений к мирному труду, вдруг с поразительной отчетливостью увидели, узнали самих себя, свою жизнь и борьбу. И все это с такой силой напоминания, какая могла сравниться лишь с напоминающими им об этом рубцами от ран, полученных на полях сражений. Но также и с той силой преображения, которая впервые позволила им, только что снявшим солдатские шинели, ощутить себя подлинными героями истории.

И вот уже в апреле 1928 года А. С. Серафимович, принимавший горячее участие в судьбе молодого писателя Шолохова, пролагавший «Тихому Дону» путь к читателям сквозь заборы недоброжелательных издателей и критиков, приветствует появление в нашей литературе этой книги и ее автора со страниц «Правды»:

«Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные; это — не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщинки, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй — эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидали».

В разное время, но единодушно присоединятся к этой оценке и М. Горький с его словами, что Шолохов по-настоящему талантлив, и Алексей Толстой, поставивший «Тихий Дон» Михаила Шолохова на литературную полку рядом с «Войной и миром» Льва Толстого, и А. Фадеев, заявивший о своем товарище по перу: «...самый талантливый из нас». Наркому просвещения и литературному критику А. В. Луначарскому «Тихий Дон» напомнит «лучшие явления русской литературы всех времен».

А когда первая книга «Тихого Дона» читалась в тех самых местах, откуда она разошлась по всей стране и по всему миру, нельзя было отделаться от ощущения, что ты же все это уже знал, видел, пережил и перечувствовал, все это происходило и с тобой в окружающей степи, под родным небом, и все до самой последней черточки на лице у человека и до стебелька травинки так знакомо, близко. Но в то же время и неповторимо. Все, что всегда окружало, вдруг озарилось таким ослепительным светом, что явилось взору неожиданно новым. Необыкновенным в обыкновенном.

Вот этим свойством увидеть необыкновенное в обыкновенном и наделен в высшей степени Михаил Шолохов. Увидеть так, что простой казак Григорий Мелехов вырастает под его пером в фигуру всемирно-исторического масштаба, а его любовь и трагедия становятся вровень с любовью и трагедиями шекспировских, пушкинских, толстовских героев. Увидеть и услышать так, что тончайшее дыхание опаленной морозами полыни до боли сжимает сердце и вызывает целую бурю чувств, воспоминаний. Только художник, который не только знал людей, подобных Григорию, Аксинье, Наталье, не только жил среди них, но и жил их стра-



тями, радовался их радостями, мучился их болями, мог создать такие образы и характеры во плоти и крови.

Да, еще не успела остыть от пожаращ донская степь и прорасти сквозь политую «нержавеющей казачьей кровью» земля трава, а те самые люди, которые только что сражались в этой степи и проливали эту кровь, уже читают о себе в «Тихом Доне». Кстати, еще и теперь сохранилась в донских архивах папка с материалами об одном из участников Верхнедонского восстания и с неопровержимыми свидетельствами, что, работая над «Тихим Доном», его автор особенно интересовался историей жизни этого молодого казака. А в станицах Верхнего Дона до сих пор можно встретить и кое-кого из тех людей, с ксторыми Шолохов общался в годы коллективизации и чьи жизненные биографии, драмы, судьбы, что называется, стучались в «двери» его будущей «Поднятой целины».

Однако он же и сам являлся одним из организаторов колхозов, разведчиков партии на единоличной крестьянской целине. Слышал выстрелы кулацких обрезов, видел пожары, выступал против перегибов, заступался за честных колхозников и коммунистов и сам выдерживал натиск тех, кому он со своим авторитетом и нравственной силой мешал самоуправничать, мутить чистые воды Дона. Ему нужно было не только распутывать сюжетные узлы, круто завязанные на страницах неоконченных романов, но и распутывать драматичнейшие узлы в повседневной окружавшей его жизни, бороться против тех, кто подчас и именем партии совершал антипартийные дела. Все, что потом будет дышать гневом, болью, любовью, на страницах его книг, бралось им, собственно, даже не бралось, а властно входило в его сердце из этой жизни. При этом герои будущих книг Шолохова, обступая его, не только настойчиво стучались к нему со своими жгучими вопросами, надеждами и делами, но и начинали теснить и оттесняли друг друга. Однажды казаку Григорию Мелехову, отодвинутому плечом путиловского слесаря Семена Давыдова, пришлось отойти в сторонку, терпеливо подождать. А потом и Семену Давыдову пришлось уступить место Григорию Мелехову. Между третьей и четвертой книгами «Тихого Дона» вклинивалась первая книга «Поднятой целины», а между первой и второй книгами «Поднятой целины» — четвертая книга «Тихого Дона», первые главы романа «Они сражались за Родину», рассказ «Судьба человека».

Еще, должно быть, и поэтому сегодня снова так живо вспоминается самая первая поездка в Вешенскую, первая встреча с М. А. Шолоховым в те самые дни, когда его вниманием и сердцем опять целиком завладели Григорий Мелехов, Аксинья, Наталья, другие герои «Тихого Дона».



Людно на бывшем вешенском майдане. В тени дощатого забора курят, сидя на корточках, казаки. Опирается на байдик смуглый, красивый старик, щупленький казачок затягивает подругу светло-рыжему жеребцу и вот уже, коннувшись стременами ногой, оказывается в седле. Собравшиеся на майдане, провожают его придирчиво оценивающими взглядами. Все изобличает в нем жителя здешних мест, с детства воспитанного в любви и привязанности к лошади

С крутобережья видны завернувшийся вокруг леса Дон, уходящая к Базкам дорога, летняя степь. Ветер доносит оттуда запах полыни, а быть может, это так кажется потому, что и страницы «Тихого Дона», «Поднятой целины», еще раз перечитанные перед поездкой сюда, ею дышат.

Приехав в Вешки и еще не встретившись с Шолоховым, уже начинаешь ощущать его присутствие. Старуха, у которой покупаешь молоко, заявляет:

— Гришка Мелехов — мой племянник. Только его фамилия была Ермаков. А Михаил все распознал про него и пропечатал. Все до капельки.

Вскоре убеждаешься, что и другие вешенцы претендуют на близкое родство с героями шолоховских книг. Одному Григорий Мелехов, оказывается, доводится братом, другой не прочь взять его себе в зятя. Встречаются и «сестры» Аксиньи. Уборщица в Доме колхозника так и отрезала:

— А как же, хоть и двоюродная, а сестра. Она в двадцатом году от тифу померла.

Когда еще ехали мы из Миллерова в Вешенскую в кузове полугоратонки с председателем одного из верхнедонских колхозов, он настаивал:

— Нет, я серьезно... Помните, у Давыдова щербатинка во рту. Вот, посмотрите...— И в доказательство показывал выщербленные впереди зубы.

В кабинете секретаря Вешенского райкома партии Петра Кузьмича Лугового на стене — написанный местным учителем портрет М. А. Шолохова. Заведи с Луговым разговор о Шолохове — и скуповатый на слова секретарь райкома отложит в сторону бумаги, увлекаясь, начнет рассказывать. А ему есть о чем рассказать: больше десятка лет живет и работает бок о бок с Шолоховым, постоянно общаясь с ним, как один из ближайших друзей. За это время разное было.

И все здесь так или иначе общались с Шолоховым. С одним охотился, с другим тянул бредень, с третьим, устроившись где-

нибудь в холодке, беседовал о казачьей старине и новых колхозных делах.

Старикам особенно по душе:

— С ним можно и службу вспомнить.

Этот первый приезд в Вешки совпал с болезнью писателя. На рыбной ловле или на охоте он подхватил малярию. Одно время она приняла острые формы, надо было видеть, как заволновались Вешки. К дому Шолохова ходили станичники; осторожно постучав в калитку, спрашивали у матери, у жены писателя:

— Ну, как сегодня Миша?

Об этом говорили на переправе через Дон, в райкоме, а вечером в станичном театре колхозной молодежи.

Еще не вполне оправившийся после болезни Шолохов полулежит на кровати с трубкой в руке. Сбоку на стуле — книжка «Суворов».

С жадностью набрасывается на московские новости. Тогда почему-то еще распространено было мнение, что Шолохов забился в свои Вешки, как в «медвежий угол». Но это было далеко не так. Он живо интересовался всем, что происходило в стране, жизнью столицы. Не простая биологическая любовь к Дону удерживает его в станице Вешенской, о чем сам Шолохов говорил с ясностью, не оставляющей сомнений:

— Разбазаривать время на литературных собраниях — этим пусть занимаются другие.

Только что вышел в свет роман молодого автора об одном из героев гражданской войны, о книге шумят критики, и Шолохов, одобрительно отзываясь о достоинствах романа, тут же бросает автору серьезный упрек. По материалам и воспоминаниям очевидцев можно представить себе образ героя — крупного партизанского вождя — несколько иным, нежели он описан в романе. Фантазия заносит автора в сторону от исторической правды, а возможно, виной недостаточное знание материала.

— К сожалению, это грех многих писателей. — Шолохов повторяет: — Очень многих...

И он говорит, что каждый писатель непременно должен хорошо знать какую-нибудь среду: будь то казачество, интеллигенция, будь то наша молодежь. С иронией отзываясь о литераторах, знающих обо всем понемногу:

— Интеллигенции такой автор не знает. О молодежи судит только по дочери соседа. В конце концов он неизбежно окажется перед вопросом: «А что же я, собственно, знаю? О чем буду писать?»

Говорит и о тех «маститых», которые пекут незрелые вещи:

— Один весьма уважаемый автор издал книгу, о которой критики хором заявили: «Какая большая тема поднята автором!» Тема-то действительно большая, но в том-то и дело, что автор оказался не в состоянии ее поднять. Спешка плюс недостаточное знание предмета похоронили хороший замысел. Ничего не может быть опаснее спешки.

Сам Шолохов и тогда следовал этому правилу — не спешить, хотя к тому времени, к своим тридцати трем годам, он был уже автором двух книжек рассказов, трех книг «Тихого Дона» и первой книги «Поднятой целины». Секретарь райкома Луговой рассказывал, что нередко Шолохов много дней пишет одну-две странички, переписывает их, правит бесчисленное количество раз и все же остается потом неудовлетворенным, пишет все заново.

В те дни работал он над четвертой книгой «Тихого Дона». В ответ на вопрос о дальнейшей судьбе Григория Мелехова с улыбкой сказал:

— До окончания осталось не так уж много, вряд ли сейчас стоит говорить об этом.

— Существуют ли прообразы ваших литературных героев?

И этот вопрос он явно считает наивным:

— Невозможно списывать образы с людей, как они есть. Не потому, что живые люди бледнее книжных героев. Но писатель как бы группирует наиболее примечательные черты разных людей, создавая такие типы и характеры, которые при всей их ярко выраженной индивидуальности, непохожести друг на друга несут в себе и общие черты своей социальной среды, всего народа. Черты образа времени. Вот приходят ко мне двадцатипяти-тысячники: «Вы написали про Давыдова, а меня ведь тоже кулаки били...»

Помнится, и при следующей встрече с Шолоховым, которая состоялась в декабре 1939 года, продолжился этот разговор. В ту зиму на северо-западе разворачивались финские события, и с заснеженного лютой зимой Карельского перешейка мой путь корреспондента «Комсомольской правды» лег в заснеженную не менее лютой, хотя и мирной зимой станицу Вешенскую.

За окном кабинета Шолохова классически мирный пейзаж: подернутый голубоватым ледком Дон, опущенные молодым снегом лес и степь. А как сам Шолохов чувствовал себя в окружении этого идиллического пейзажа? Долетало ли до него дыхание разворачивающихся под Ленинградом кровавых событий?

Вот когда ему изменила сдержанность. Забросав приехавшего к нему в военной шинели корреспондента вопросами о пер-вых боях и помрачнев, он заключил:

— Да, драка будет большая, будут жертвы. Нельзя недооценивать финнов.

Работал он тогда особенно упорно. Еще и еще перечитывал написанное, прослеживал пути своих героев, искал логического завершения их судеб. Долгими ночами оставался наедине с Григорием Мелеховым. Кто знает, сколько было передумано за эти зимние вешенские ночи! Густая темь крыла станицу, и только в одном окне до утра мерцал свет, до того часа, когда над Доном взмывали туманы.

В те дни, когда дописывались последние главы, страницы «Тихого Дона», Шолохов получал особенно много писем. Читатели волновались. «Оставьте Григория в живых!» — настаивал один. «Григорий должен жить!» — требовал другой. «Ведь, правда же, он будет с красными?» — спрашивал третий.

И, глядя в окно на вытянувшийся вдоль донского берега лес, Шолохов говорил:

— Всем хочется легкого конца, а что, если он будет пасмурным?

Я не могу удержать вздоха:

— А все же?

Должно быть, этот вздох и смягчил его:

— А если — я тебя породил, я тебя и убью? Могу только сказать, что конец «Тихого Дона» вызовет разноречивые суждения. Нельзя забывать, что писатель должен уметь говорить читателю правду, как бы она ни была горька. И к оценке литературного произведения в первую очередь нужно подходить с точки зрения его правдивости.

Теперь, еще и еще перечитывая конец «Тихого Дона», думаешь, что иного и не могло быть. Шолохов не увлекся соблазном благополучного окончания романа, остался верен себе, исторической и художественной правде. Нельзя без глубочайшего волнения читать заключительные строки о встрече Григория Мелехова со своим сыном Мишаткой: «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

Нет, иного не представляешь.

На обратном пути из Вешек до Миллерова в кузове грузовика, куда набилось десятка полтора пассажиров, один из них, поднимая воротник тулупа, с твердостью, исключаяющей всякие сомнения, говорил:

— А Пантелей Прокофьевич доводился мне кумом.

К этому надо было привыкать.

В нем, сыне простой крестьянки, ставшем крупнейшим писателем современности, в его творчестве счастливо соединилось все то, что отличает ныне советскую литературу,— ее революционная молодость и глубокая связь с истоками духовных богатств народа, ее верность освободительным идеалам человечества и непримиримость к врагам подлинной свободы. В нашу литературу пришел новый герой. В этом заслуга социалистического реализма, выдающимся представителем которого является Шолохов. В проникновении к сердцу человека труда — источник его поэзии, впечатляющая сила его таланта.

Уже и в первых донских рассказах образ человека труда стал главным предметом внимания писателя. Главным же предметом внимания этого труженика изображаемой Шолоховым донской деревни исстари была земля. В годы гражданской войны кипели на Дону бурные страсти. Обозначился глубокий водораздел между владевшей землей богатой верхушкой казачества и неимущим крестьянством. Но, как говорил Ленин, отвоевать землю можно было только в борьбе за Советскую власть.

И до Шолохова в русской литературе писали о крестьянстве. Но никто не нашел таких слов и красок для изображения размежевания враждующих классовых сил в деревне. Не вылепил с такой скульптурной реальностью образ крестьянина, одолевшего в жестокой борьбе своего извечного врага — кулака — и выходящего на дорогу коллективной жизни.

На всем своем протяжении неторопливо разворачивается повествование «Тихого Дона», как неторопливо само течение Дона. Но видел ли кто-нибудь, как на стремнине Дона, среди изрытых ярами берегов, воронками кружат воду неиссякаемые глубинные ключи? Так и в шолоховском произведении под величественно спокойным названием ни на минуту не прекращается движение. Еще накануне революционных событий, перевернувших весь патриархальный уклад устоявшейся казачьей жизни, видим мы, как первые трещины проходят по ровной поверхности будто бы тихого Дона,— быть на Дону ледоходу. Скоро сдвинуться ему и уже не остановиться до той самой поры, пока не захлестнет казачью землю, на которой живут герои Шолохова, вешним разливом коллективизации.

Властно вторгаются неотвратимые события и в живущую на окраине хутора Татарского семью казаков Мелеховых. История семьи Мелеховых — это, в сущности, история того, как разрушались устои социальной несправедливости в старой деревне.

На тихом Дону пробудились и встретились непримиримые течения. Дрогнули и Мелеховы. В образах старика Мелехова и его сыновей — художественное олицетворение всего происходившего в то время на казачьей земле. Могучие удары сотрясают мелеховский дом. Чувствует Пантелей Прокофьевич, как неведомые и пугающие его своей новизной силы рвут корни, навечно, казалось, соединившие казачество с монаршей, с атаманской властью. Бьется, не в силах вырваться из круга обступивших его противоречий, Григорий.

Во всей современной мировой литературе не найти фигуры столь же выразительной, сколь и противоречивой. Столь же приковывающей к себе взоры читателей и побуждающей их, оглядываясь вокруг, искать Григория Мелехова среди людей невымышленных, живущих. Вообще редчайший удел выпал не только на долю Григория, но и других шолоховских героев. Даже время не могло состарить в глазах читателей Аксинью, и сама смерть не разлучила нас с нею. Не только неискушенному наивному взору назначено и ныне выхватывать ее из живописной толпы казачек. И Макар Нагульников, Семен Давыдов настолько неотторжимы от читательского сердца, что оно готово даже взбунтоваться против автора «Поднятой целины», как если бы это он по своему произвольному желанию, а не по властным законам жизни и творчества похоронил их бок о бок... Ах, если бы Нагульников и Давыдов вовремя посторонились, побереглись от смертоносной струи пулемета! Так же как, ах, если бы Аксинья с Григорием объехали стороной, не напоролась на ту самую засаду, из которой прозвучал роковой выстрел! И в повседневную возможность встречи со Щукарем верит читатель.

Но подобное восприятие читателями литературных образов наступает не прежде, чем до этого их почувствовал живыми сам автор. Не сконструировал по расхожим рецептам и штампам литературного ремесла, а выносил, выстрадал в себе. Не придумав, а с содроганием вместе с Григорием увидев почерневший диск солнца на небе, над могилой Аксиньи. И, быть может, проклиная себя за то, что на секунду припоздал ринуться наперерез половцевскому пулемету, не успел заслонить Давыдова и Нагульнова грудью.

В хуторе Татарском и в хуторе Гремячий Лог как в каплях воды отражается волнение, сотрясавшее русскую землю и в годы революции и в годы коллективизации сельского хозяйства. Шолохов ищет в своих произведениях художественного выражения социальной правды. В поисках этой правды и совершают суровый жизненный путь его герои. Все достоверно в развертываемых художником слова картинах — не измельченной, распа-

дающейейся на внешние подробности, кажущейся правдоподобностью, а изображением самого существа жизни. И если бы даже мы, являющиеся современниками Шолохова, не знали сегодня, что все сошедшие с его кисти на полотна его произведений было взято им из действительности, все равно за этой живописной достоверностью мы должны были бы почувствовать художника, нервущимися нитями соединившего себя с жизнью.

В замечательных образах Пантелея Прокофьевича, Ильиничны, Натальи, в образе Аксиньи, презревшей во имя любви условности быта, в драматической фигуре Григория видим мы живых, реальных людей. Словно с палитры самой донской степи берет свои краски Шолохов. Вспомним, как в послегрозовой ночной степи зарождалась любовь Григория и Аксиньи. И еще раз вспомним, как много лет спустя вслед за первой оттепелью января вторгается в донскую деревню весна 1930 года.

Еще и теперь волнуются страсти вокруг судьбы Григория Мелехова. Перейдя по ростепельному мартовскому льду через Дон в хутор и взяв на руки своего сына, Григорий пристально вглядывается в его черты. За Мишаткой Мелеховым будущее. Молодости его назначено совпасть с великим переломом в жизни донской деревни и, возмужав, в войне с германским фашизмом утвердить величие и благородство свободного советского народа.

Да, бурно вторгается в донские станицы и хутора весна 1930 года! Перепахавший единоличные межи плуг коллективизации провел глубокую борозду и в сознании трудового казачества. «Поднятая целина» Шолохова имеет завидную для литературного произведения судьбу, став не только художественным, но и историческим документом революционного переворота в сельском хозяйстве страны. В образах большевиков Давыдова, Нагульнова, Разметнова, бедняков и середняков Майданникова, Щукаря, Любишкина, в противостоящих им фигурах кулака Островнова и бывшего есаула Половцева мы видим соотношение борющихся сил в деревне. Островновы и полковцы обречены на поражение. Однако не сразу подавалась донская единоличная целина. И вот, как прорвавшая плотины полая вода, устремляется трудовое казачество в колхозы. Уже весной на полевом колхозном стане, после того как Давыдов подвел итоги соревнования впервые сеявших на обобществленной земле колхозников, жена спросила Кондрата Майданникова:

«— Кондраша, Давыдов тебя повеличал... Вроде бы в похвальбу... А что это такое — ударник?»

Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не



мог. «Надо бы у Давыдова разузнать!» — с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел:

— Ударник-то? Эх ты, дура-баба! Ударник-то? Кгм... это... Ну, как бы тебе понятнее объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают — его тоже самое зовут ударником. В винтовке эта штука — заглавная, без нее не стрельнешь... Так и в колхозе: ударник есть самая заглавная фигура, поняла? Ну, а зараз спи и не лезь ко мне!»

Так торжествуют новые начала и в сознании середняка Майданникова. Так видим мы уже в первой книге «Поднятой целины» очертания той колхозной действительности, с которой сроднились сегодня.

Но в то время, когда в деревне поднималась вековечная целина, только идущему в ногу с современностью, глубоко проникшемуся верой партии художнику дано было видеть то, что ныне стало явью. Каждый раз, когда Шолохов заговаривает о партии, в голосе его сквозит горячее чувство:

«Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью закованная в камень Москва: тягуче-призывно режут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегочут трамваи. А за ленинским мавзолеем, за кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свищается полотнище красного флага. Освященное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжело обвисающий флаг, и он снова взвизывается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем восстаний, зовет на борьбу...»

\* \* \*

Не по этой ли самой причине у Шолохова с первых же шагов его в литературе и оказалось столько врагов, уже по первому тому «Тихого Дона» почувствовавших действительную мощь его таланта, поставившего себя на службу народу. И, конечно же, это были не личные враги Шолохова, а враги новой, социалистической культуры, утверждающей себя на заре новой народной власти. Начисто, наглядно опрокидывающей тот навет на ее лучших представителей, что они якобы превратили всю предшествующую русскую культуру в обломки, отрицающая преемственность ее лучших идей, форм, достижений. И тот, другой, навет, что сами они не способны к творческому созиданию.

Но могло ли быть и какое-нибудь более убедительное, чем «Тихий Дон», подтверждение живой, нервующей связи новой, социалистической культуры с лучшими культурными традициями своего народа и более веское доказательство неисчерпаемости творческих возможностей этого народа, вызванных к жизни Октябрем? Вот почему сразу и вызвал на себя такой огонь Шолохов, в котором наши недруги тотчас же безошибочно почувствовали одного из самых выдающихся создателей социалистической культуры. Что только не измышлялось при этом!

И на всем протяжении литературной жизни Шолохова они уже не оставляли его в покое. В разное время в разные формы выливалось их внимание к выдающемуся советскому писателю. То в форме такого переизданного, искаженного издания «Поднятой целины» во Франции, которое сам автор был вынужден немедленно заклеить, дезавуировать на страницах «Правды». То в форме такого окончания за Шолохова «Поднятой целины», до которого, пожалуй, только и мог додуматься автор статьи в «Нью-Йорк таймс» Г. Солсбери лишь для того, чтобы тут же и поспеться с поличным — и опять под руку самому Шолохову. Однако, разумеется, не для этого, а в надежде, что с доподлинной «Поднятой целиной» читатели «Нью-Йорк таймс», возможно, потом и не встретятся и в памяти их задержится лишь эта стряпня с заключением непрошеным соавтором романа его героев Давыдова и Нагульнова «в застенки ГПУ». Клевещи, клеветы, что-нибудь останется... То в форме такого издания «Тихого Дона» в Англии, как это обнаружил ростовский литературовед К. Прийма, в котором из шолоховской эпопеи были изъяты картины и целые главы, запечатлевшие в художественных образах историю революционной борьбы нашего народа.

Уже совсем недавно один из зарубежных «советологов», Адамович, всерьез начал уговаривать по радио читателей «Тихого Дона» в корне пересмотреть свое отношение к этому шедевру советской и мировой литературы, исключив его из того ряда, в котором он стоит вместе с «Войной и миром». Вот так — взять и исключить. Как будто ему, Адамовичу, а не читательскому гению народа дано отбирать из культурных ценностей все то непреходящее, что, не поддаваясь разрушению временем, навсегда остается в памяти и в культурной сокровищнице человечества. Знаменательно, что в унисон этой злобной пристрелке с Запада и в это же самое время раздаются не менее злобные залпы в сторону автора «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека» и с Востока.

Разумеется, ни те, ни другие не в состоянии сколько-нибудь поколебать общепризнанный авторитет великого реалиста

нашего времени, сильного не только своими произведениями, своим талантом, но и той любовью, которой платят ему миллионы читателей во всем мире за его любовь к людям труда, сочувствие их страданиям.

\* \*  
\*

Невозможно в одной лишь статье окинуть взглядом и охватить всю столь насыщенную творческую жизнь Шолохова. Но, вероятно, у каждого из нас есть на необозримых полях его произведений свои позывные, на которые всегда настроено сердце. Иногда это всего лишь одна строчка. Вспыхнет в памяти и вызовет за собой, приведет в движение, выстроит целый ряд картин, образов.

Не так ли и самая первая, начальная фраза «Тихого Дона» — «мелеховский двор — на самом краю хутора» — сразу же сближает его читателя с той казачьей землей, на которой живут шолоховские герои, и с самим Доном, воды которого они потом не раз окрасят своей кровью. И не только с казачьей, а со всей российской. Не где-нибудь, а на самом краю хутора, откуда сразу же и открываются все дали и все дороги, уходящие за «степной гребень». И теперь уже взор не оторвется от этих дорог, все время будет искать на них тех, кто в суровую минуту жизни покинул двор казаков Мелеховых и кто потом возвращается из долгой отлучки в родное гнездовье.

Казалось бы, все, что только можно было написать о Григории Мелехове, уже написано и просто даже невозможно представить, чтобы вокруг какого-нибудь другого героя современной литературы бушевали такие же страсти, и все-таки кто сказал, что они заглохли? Одни критики, подпавшие под обаяние молодого Григория, все еще не отказались от мысли перекрасить его в красный цвет, другие, листая послужной список его ошибок и заблуждений, упорно выбеливают его совсем уж добела, да так, что под их пером он становится ближайшим родственником есаула Половцева. А неудержимо скользкий свет времени, озаряющий попеременно то красную, то белую «половины» Григория, вдруг возьмет и бросит на него отблеск с самой неожиданной стороны, и сразу как заново отчеканит его на фоне грозной эпохи всего, во всей его противоречивой цельности. И вот он — не закоренелый белый (а он ли не служил белому делу?), но и не красный (а ему ли не быть красным?), мятущийся и жестоко ушибшийся Григорий, которого ни аршином его послужного списка не измерить, ни цитатой из ему же принадлежащих слов, ни даже его собственным клинком, побывавшим

и в белоказачьих и в красноармейских ножнах. Его не разъять на части, не анатомировать живого и не причислить к лику безупречно святых или же безнадежно грешных. И, возвращаясь в родной хутор из своих трагических странствий, он еще надеется на суд суровый, но не жестокий.

Вот здесь бы критику и ответить на вопрос: а поставил бы и он свою подпись под беспощадным приговором Григорию Мелехову?

Одна только фраза «Здравствуй, Аксинья, дорогая!», сказанная Григорием при встрече после длительной их разлуки и после всего того, что, казалось бы, уже навсегда разъединило их. Всего несколько слов, но какая буря за ними! И вот уже все, что некогда разделило их и, казалось, навсегда вырыло между ними пропасть, забыто обоими. Все, все забыто — и жестокая ревность, огнем охватившая сердце Григория, узнавшего о неверности Аксиньи, и то, как после разговора с дедом Сашкой он в ключья рвет привезенный ей с войны узорчатый платок — его ли подаркам сравниться с подарками панского сына Листницкого.

Забыта и Аксиньей обжигающая боль от кнута Григория, и то, как осталась она на развилке дорог с протянутыми вслед ему руками, а он уходил, подняв воротник шинели, по дороге к хутору Татарскому — к Наталье.

И никогда потом ни Григорий, ни Аксинья не вспомнят и не напомним друг другу о взаимных обидах. Какие могут быть между ними счеты, какие обиды, когда у них есть она, их любовь, перед которой все остальное кажется таким ничтожно мелким, наносным! И что может сравниться с этой любовью?! А все ее зигзаги — не столько от них самих, сколько от злых обстоятельств жизни и от ветра сурового времени, которым бросало их из стороны в сторону. Но бурного костра их любви он так и не смог потушить. И, не правда ли, ничего разделявшего их не осталось между ними — да и было ли оно? — осталась одна негленная любовь. Вспыхнувшая с новой силой, она осветила им всю их жизнь. Она никогда и не угасала в их сердцах, горячими углями тлея под пеплом всех наслоений.

И у кого из нас не сжималось болью и радостью сердце при этих словах Григория, сказанных им возлюбленной на том самом месте на берегу Дона, где некогда зачиналась их любовь: «Здравствуй, Аксинья, дорогая!»

Всего несколько слов, а за ними целая жизнь. Бедная Наталья! И вот уже сердце читателя затаилось в предчувствии других слов, которые вскоре неизбежно должны будут вырваться у автора.

«В окна глянул голубой рассвет...» Кто не помнит их, возвестивших о наступлении того дня, когда предстоит умереть Наталье? Кого не заставили они вздрогнуть от мгновенно пронзившей сердце печали и увидеть сквозь туман, заставший глаза, на подоконнике мелеховской горницы «слезинки росы», которые страхнул «с вишневых листьев ветер»? Это сама Натальяина жизнь в последний раз глянула на нее голубыми глазами утра, неба и Дона, глазами ее обманутой в своих самых лучших надеждах молодости, несчастной и великой в своей самозабвенной верности любви.

Казалось бы, и о Макаре Нагульнове из другого романа Шолохова — из «Поднятой целины» — столько уже написано, что ничего нового и не сказать, все давно согласилось с Давыдовым: «Путаник, но ведь страшно свой же». Кто из нас не присоединится к скорбящему автору: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову...» Но вдруг раздается голос критика, предостерегающий читателя, чтобы он не спешил присоединяться к этой скорби. И тот же голос поясняет далее, что такие, как Макар Нагульнов, чуть ли не унавоживали почву для культа личности. Нет, вмешивается голос другого критика: унавоживали — это звучит слишком сильно, но вообще-то Шолохов недаром обращает наше внимание на хищный вырез ястребиного носа у Макара. А вот они и прямые слова самого Макара, что для победы революции он готов «порезать» из пулемета «тысячи дедов, детишек и баб». И сразу же тенью заволокло его образ. Тем более что во внешнем облике Макара все эти черты и детали есть и эти жестокие слова критик не придумал. Да и вообще разве не переклестывал, не загибал Макар Нагульнов? Все это было. Так почему же и сквозь набежавшую тень все так же продолжает светить нам влюбленное в мировую революцию сердце Макара и не спешит читатель развенчивать его вслед за строгим критиком, как не спешил в свое время вслед за Корчжинским голосовать за исключение Макара из партии? Да потому, что не по отдельным частям и деталям полюбили ему Макар Нагульнов, а весь. И живо анатомировать его тоже не следует. Не по прямым словам Макара надо судить о нем — ни на детишек, ни на женщин он, конечно, руку не поднял бы, а по совокупности всех его слов, черт и поступков, по отношению к нему его ближайших друзей и не переставая чувствовать температуру той любви к Макару, которую испытывает к нему автор. Любви, не прощавшей Макару его ошибок и загибов и никогда не забывавшей, что он «страшно свой же». Так что же теперь, отказаться от этой любви, отдать Макара на разятие по частям, отчислить к тем, кто «унавоживал почву» для культа личности? Проголосовать задним

числом вместе с Корчжинским за исключение Макара из партии?

Отринуть все то главное в Макаре, за что и полюбился читателю его образ, и уподобиться тому же Самохину, который, съездив по поручению райкома в Гремячий Лог, достает потом на заседании бюро из своего портфеля «дело Макара» и начинает обклеивать его ярлыками обвинений так, что на нем уже не остается живого места. Вспомним, как на заседании бюро райкома Макар даже и не особенно возмущается, когда Самохин по принципу «раз виноват, то и сваливай на него все, что было и чего не было» вдруг предъявляет ему совсем уж смехотворное обвинение в бытовом разложении. Внутренне убежденный, что все это никак не может к нему пристать, Макар даже и не опровергает во всех деталях клеветнические факты, привезенные Самохиным из Гремячего Лога, а лишь с холодным презрением замечает: «Брешет он, как кобель, и насчет моего распутства. Выдумки! Я от баб сторонюсь, и мне не до них...

— Через это ты и жену прогнал? — ехидно спросил заворг Хомутов.

— Да, через это самое, — серьезно отвечал Макар, — но все это я делал... Я хотел для блага революции...»

«Жизня эта мне, братцы, начала дуже нравиться», — говорит как-то дед Щукарь. И вот он весь в одной фразе. На свои давно истлевшие от постоянной нужды «портки» все время нашивает дед Щукарь яркие лампасы безудержной фантазии, вымысла и горделиво щеголяет в них, любясь при этом собой со стороны и не отказывая себе в том, чтобы посмеяться вместе с другими над плодами своей стариковской фантазии. Но мы слышим, как все громче пробивается сквозь эту фантазию трагическая нотка.

О Шолохове написано уже много, но движущимся светом времени будут озаряться и выявляться все новые и новые «материки» на его полотнах. Все глубже будет просматриваться взаимосвязь запечатленных на них событий народной жизни, все ярче будут выступать тона и полутона его живописи. Во все более сокровенной прелести будет ощущаться сердцем таинственный гул ни с чьим не сравнимого слова.

Единственно неповторимого по его точности, неожиданности и новизне его окраски, внешнего и внутреннего освещения, по образности молодой, звенящей крепости фразы, музыкальности, внутренней дисциплинированности ритма. И в то же время эта свобода повествования, непринужденность, созвучная жизни. Страсти непродуманные, краски нетускнеющие. Всюду судьба человека, судьба народа. И всегда на гребне

исторических событий, революционных преобразований, великих подвигов и страданий. Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война. Мелеховы, Аксинья и Наталья, Нагульнов и Давыдов, Майданников и Щукарь, Андрей Соколов и Егор Лопахин. Героическая история, героическая современность.

Река народной жизни течет в произведениях Шолохова, как течет сам Дон по казачьей степи. И видят эту реку из всех отдаленных уголков нашей планеты.

\* \*  
\*

Вот и опять с утра настраиваешься на позывные этой волны. И как не настроиться, если с утра этого воскресного весеннего дня приезжает к тебе в казачий хутор из шахтерского города тот друг, в разговоре с которым никак не избежать ее. Тем более что твой дом на самом яру, у воды, а заполонивший окна своим желтовато-зеленым блеском Дон разлился в эту весну так, как не разливался уже давно, затопив и левобережный лес, и вербный остров, и окраины хуторских виноградных садов. Так что казакам прежде времени пришлось выхватывать их из земли, подвязывать лозы к опорам. Полая вода бурлит среди лоз, а если подняться на степное крутобережье, можно увидеть и сплошь залитое его Задонье. Еще и воочию ощутив ту силу реки, которую до этого тебе уже дал почувствовать автор «Тихого Дона».

И еще долго продолжается разговор об этом с другом из города угольщиков, бывшим начальником участка на шахте, а ныне партийным работником, и с его женой, преподавательницей истории в средней школе. О том, что с книгами Шолохова и с его героями возмужало уже не одно поколение советских людей. И если попытаться охватить взором это полотно, переливающееся всеми красками жизни, то окажется, что оно и вобрало в себя и отразило все наиболее существенные движения и человеческие характеры нашей современной истории. От крутых перевалов революции, гражданской войны, через поля сплошной коллективизации в деревне и до рубежей гигантской битвы с фашизмом. И каждому человеку есть о чем вспомнить, что почерпнуть, взять с собой в дальнейший путь, всмотревшись в это полотно. В том числе и человеку самого молодого поколения, которое еще только вступает в жизнь. Важно только, чтобы он не прошел мимо этого в самом начале пути. Мимо того, без чего в наше время уже не может обойтись ни один человек. Потому что эта самая изначальная, основополагающая

часть жизни нашего нового общества, советского народа, закрепленная кистью художника слова в красках и образах.

Рано или поздно все это, конечно, стучится в дверь каждого человека рукой Григория Мелехова, Аксиньи Астаховой, Макара Нагульнова, Семена Давыдова, деда Щукаря. Но лучше, если это произойдет раньше, в ту весеннюю пору жизни, когда сердце особенно отзывчиво и широко распахнуто навстречу любви, надеждам. Навстречу той красоте и поэзии, которые разлиты в окружающем и не всегда тут же открываются нетерпеливо скользящему юному взору. Автор «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека», ни на минуту не приостановив вступающего в сознательную жизнь человека в его движении вперед, поможет ему увидеть на пути то самое главное, что потом и предостережет его и укрепит в собственных силах. И тогда он уже ни за что не повторит в своей жизни ошибок и заблуждений, подобных ошибкам и заблуждениям того же Григория Мелехова, которые так исказили, омрачили жизнь этого незаурядного человека. И тому, кто в начале своего пути захочет узнать, как жили отец и мать, через какие подъемы и трудности пролегли их путь, никто уже об этом не расскажет так, как Шолохов. Ничего не навязывая молодому уму и сердцу и ни на чем, казалось бы, не настаивая, а исподволь разворачивая перед ним неотразимые картины жизни и борьбы. И в годы революции, и в годы коллективизации, и в то время, когда сердца и тела отцов испытывались огнем на полях сражений Великой Отечественной войны.

Но не менее важно и то, другое, что при этом навсегда войдет в сердце, распахнутое в раннюю пору,— вера в то, что она есть, эта высокая любовь на земле. Ради нее люди даже идут на смерть, как пошла молодая и прекрасная казачка с хутора Татарского Аксинья. И неправда, что таким людям, как Макар Нагульнов, Семен Давыдов, была недоступна эта самоотверженная любовь.

Вера в нее войдет в молодое сердце и останется там навсегда. И отныне над чувствами, восторженными в нем, уже не властно будет время. Они не выцветают со временем, а лишь вновь и вновь высвечиваются его стремительными отблесками, еще сильнее обжигают, зовут и пленяют. В разную пору жизни поразному и все-таки каждый раз с неповторимой силой предстает взору и тот день на самой заре любви молодого казака Григория Мелехова и молодой казачки Аксиньи Астаховой, когда он говорит ей, что волосы у нее дурнопахнущим пахнут. И та наполненная тревожными предчувствиями ночь, которая серой волчицей неслышно приходит с востока по чернобылу, по бурьянам, по выпетшей на стернях брнице, по волнистым буг-



рам зяби, предшествуя приезду в хутор Гремячий Лог зловеще-го верхового Половцева, несущего с собой смерть Давыдову и Нагульнову.

Мы говорим об этом с другом из города Шахты, а донские соловьи, заселившие с приходом весны хуторские сады и береговые вербы, так и выщелкивают, вычмокивают над водой. В этот воскресный день почти в каждом хуторском дворе тоже поют, и по Дону, лишь чуть-чуть потревоженному рябью слабого ветра, стелются казачьи песни. Те же самые, которые пели Григорий Мелехов, Аксинья Астахова, а может быть, и Макар Нагульнов. Почему бы и нет, если он, бывало, любил вслушиваться в хор гремечинских петухов и даже сумел приучить к этому Щукаря. От Макара, который, поспешая к мировой революции, стыдливо носил с собой Лушкин платочек, еще и не этого можно было ожидать.

Потом мой городской друг уезжает домой, а я иду к своему другому, хуторскому, другу. И тут мне приходится убедиться, что стрелка растревоженного чувства так и не хочет сходить с той волны, на которую настроилась утром. Несмотря на то, что с хуторским другом, директором нашего совхоза, мы говорим совсем о другом. О том, как перезимовали в степи виноградники. О затаяншемся строительстве клуба и нового корпуса виноградарского техникума. И о только что открывшемся в совхозе детском саде, подобного которому не найти во всем нашем районе.

Не назвав по имени своего городского друга, я не стану называть и хуторского еще потому, что однажды мне уже досталось от него за это. Больше всего не любит он, чтобы выпячивали его, а если, по его мнению, говорить и писать, то надо обо всем коллективе совхоза, всех его рабочих, механизаторах, агрономах. Еще и этой своей целомудренной строгостью нет-нет и напомнит он мне героев «Поднятой целины». Но и не только этим. Чем больше узнаю его, всегда собранного, отмобилизованного, знающего, где и что делается и что где лежит в хозяйстве, открытого и прямого в своих отношениях с людьми до резкости и в то же время какого-то сурово нежного с ними, тем больше мне кажется, что и отлит он из того же металла, из которого были отлиты Давыдов, Нагульнов. И так же каждая клеточка, каждая струнка звенит высокой преданностью общему делу. Так же нетерпим ко всякой нечестности и к тому, что принято называть показухой. Глядя на него, думаю, что он и сам из этого давыдовско-нагульновского племени честнейших солдат партии и, несомненно, формировался не без воздействия на его жизнь и характер этих шолоховских героев.

Конечно, наша литература не впрямую, а исподволь влияла на формирование целых поколений советских людей. И все же иногда взор так и выхватит из массы вот такой, как бы живой сгусток давидовско-нагульновских качеств, чувств, страстей. И невольно наведет на мысль о существовании также и прямого взаимодействия литературы и жизни. Разве, кроме произведений Шолохова, не придут тут же на память произведения Фадеева, Твардовского, Леонова, Овечкина, других писателей, чьи страницы и характеры мы уже привыкли сличать со страницами и характерами окружающей жизни? И разве так же не вырастает из всего этого характер совершенно нового писателя, неравнодушного к радостям и невзгодам своего народа?

А уже перед самым вечером спущусь с яра по лесенке к воде, заливающей ее самые нижние деревянные ступени, чтобы посидеть в приткнутой к берегу лодке с соседом, старым, но еще довольно крепким казаком, бывшим сторожем виноградного сада в рыбацком колхозе, а теперь пенсионером. Уже затихают по хутору казачьи песни, и мы замечаем по воткнутой соседом в берег вербине, что вода за этот день снова прибывала. Видно, и из Цимлянского моря стали больше сбрасывать ее, и Северский Донец, впадающий ниже плотины в Дон, подбавляет свою. Но, несмотря на это, рыбы в этом году что-то почти не видно. Почти совсем перевелась она.

И, замолкнув на этом, ни о чем другом не говорим больше, а сидим в лодке молча и смотрим на воду. Вдруг сосед, прищурившись прищуренными глазами, замечает, что вода, набегаящая на берег, подмачивает деревянную лестницу исподнизу.

— А пожалуй, ежели не закопать с боков по бревну и не прикрутить ее хорошей проволокой, сорвет за ночь сходцы.

И от этого чисто шолоховского «сходцы» так и вздрогнет уже было задремавшая во мне струна. Стрелка чувства опять на своей волне. Теперь уже невольно отмечаю, что у соседа и нависший над верхней губой нос, как у донского степного ястреба, и вообще он собой весь природный, «чистый» казак. По осанке, по ухватке и взвешенности, остроте, неотразимой меткости каждого слова. Ничего лишнего не скажет. Начиная припоминать все, что успел узнать о нем за четверть века, всю его жизнь с истории вступления в колхоз и с тем, как он продал перед этим быков, а потом все же и его подхватили, прибило волной к колхозному берегу,— припоминаю все это и все больше утверждаюсь, что и во всем остальном он все шолоховский, весь. Как будто сошедший со страниц «Поднятой цели-

ны» или взошедший на ее страницы с берега Дона. И теперь он молча сидит в лодке, вспоминая обо всем этом, глядя немного птичьими глазами из-под полуприкрытых век на тихую воду, тая под усами какую-то улыбку.

Вот, должно быть, и мой городской друг уже спит в своем городе угольщиком богатырским сном человека, которому назавтра опять надо запастись силами на весь день, чтобы успеть и на заседание бюро горкома партии, и в шахту спуститься, и на стройплощадку нового текстильного комбината; замер до своей ранней побудки — до четырех часов утра — и директор нашего совхоза, едва только прикоснулся нагретшейся за день под степным солнцем щекой к подушке. А мой сосед, как только с вечера пригнал с Дона гусей, так и сам залег по-стариковски до рассвета.

Но от меня еще долго бежит сон, хотя, казалось бы, давно должен был его навеять Дон этим воркотанием воды под яром.

Уже перед рассветом рука потянется к радиоприемнику, чтобы настроиться на привычную волну «Земля и люди». Давно бы надо перестать удивляться, и все-таки не можешь не восторгаться, когда убеждаешься, что волна эта опять продолжение той же... В исполнении народного артиста Орлова, который умел так чувствовать и читать по радио Шолохова, звучат те страницы из «Тихого Дона», которые предшествуют забрызганным кровью Аксиныи и омытым слезами Григория страницам. Еще не померкло над головой Григория солнце, и он, не спавший до этого несколько суток, только что убежавший со своей возлюбленной из родного хутора Татарского, засыпает в степи под рассказ Аксиныи, которую он уже завтра похоронит под этим же небом в могиле, вырытой им своей шашкой. Уже не раз и не два было прочитано и перечитано все, и все же как это по-новому неповторимо прекрасно! Как Аксиныя всматривается в черты уснувшего Григория! Как с вновь вспыхнувшей в сердце надеждой на счастье сплетает и кладет ему в изголовье венки из степных цветов — последний венок своей любви, своей жизни! Григорий то слышит, то опять не слышит ее, проваливаясь в бездну нечеловеческой усталости. Если бы он знал, что это уже в последний раз слышит ее голос, рассказывающий ему, как она успокаивала Мишатку, с которым не хотя «играться» хуторские ребятишки из-за того, что его папка — бандит: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так... несчастный человек». И в своих надеждах Аксиныя снова уносится к тому призрачному берегу счастья, которого она все-таки надеется достигнуть вместе с этим человеком. Она же знает его, своего Григория, лучше, чем кто-нибудь другой. Им бы только вместе добраться до того берега, на котором опять, и уже не дурнопьяном, а

лазоревым цветом, должна будет зацвести их многострадальная любовь. Недаром же так и не отступает от нее сегодня эта услышанная накануне женская песня:

Тега-тега, гуси серые, домой,  
Не пора ли вам наплаваться?  
Не пора ли вам наплаваться?  
Мне, бабеночке, наплакаться...

Давно пора. И так тихо, умиротворенно, хорошо в распростертой вокруг степи. Неужели же они так еще до конца и не пострадали свою любовь?! И может ли быть, что вскоре под этим же самым небом набухнут кровью, непоправимо отяжелеют крылья этих гусей-лебедей их любви и с умопомрачительной высоты они уже навсегда рухнут на землю?!

Между тем на исходе ночь. Все слышнее, как опять пробуждается хутор. И под яром все громче бурлит Дон, все больше высвечивая своим серебрившимся розовым блеском окна и заполняя все вокруг собой, светом нового дня.

\* \*  
\*

Несмотря на то, что произведения Шолохова уже издавались в нашей стране многие десятки и сотни раз, читательский голод на них не ослабевает, не проходит. Каждое новое поколение читателей будет все глубже и глубже запускать в недра этой сокровищницы свой бур, доставая до новых пластов «Тихого Дона», «Поднятой целины», шолоховских рассказов и очерков. С углублением общечитательской культуры будет углубляться и постижение шолоховских образов, а время каждый раз будет по-новому и все ярче озарять их. И тогда, обогащенный опытом своего времени читатель «Тихого Дона», задумываясь над причинами трагедии Григория Мелехова, может быть, с еще большей отчетливостью увидит и поймет, как по кремню чудовищного обмана и вероломной спекуляции красновых и фицхеллауровых на сословных предрассудках казачества ударило кресало огульного отношения перегибщиков к казачеству, как якобы социально однородной, а не расслоенной на непримиримые классовые группировки массе, и высекло черное пламя Верхнедонского восстания. Слепленный этим пламенем, и сбился Григорий Мелехов с того пути, на который все время влекло его, трудового казака, вслед за такими революционерами, как Федор Подтепков. Еще отчетливее увидит и поймет сердцем читатель «Тихого Дона», что нет в современной литературе другого столь же страстного романа о любви, как этот эпический

роман о страданиях и борьбе народа в годы первой мировой войны, революции и гражданской войны. Если при отблесках сражений и пожаров гражданской войны ярче выявляется образ прекрасной любви Григория и Аксиньи, то и светом этой любви высвечиваются, смягчаются испепеленные сражениями и пожарами поля донской жизни на страницах «Тихого Дона». Подобно тому, как еще сумеречная в начале года степь озаряется разливом весенних лазоревых цветов — тюльпанов. Ну, конечно же, казачка Аксинья Астахова была не из революционерок. Но из источника своей любви она хотела утолить не только плотскую жажду. И от любви ждала для себя и для Григория нечто большее.

Будет обновляться со временем и отношение читателя к «Поднятой целине». Ничего не утрачивая из очарования первых впечатлений, а выдвигая и приближая взору то, о чем он лишь догадывался прежде. И тогда, скажем, не только и не просто балагуром, вздорным, хоть и безвредным стариком, предстанет тот же Щукарь, а самобытным олицетворением и выражением той неувыдаемости русского характера, которая не растает с усмешкой, с острым словом и на пороге смерти.

Вчитываясь в Шолохова, все больше найдет читатель на его страницах и доказательств, что без обращения художников слова к источникам народного творчества невозможно развитие литературы. Разве не фольклорная основа и оснастка сообщают художественному строю произведений Шолохова их силу?! Вот, казалось бы, всего лишь казачью песню выносит он в эпиграф «Тихого Дона»:

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  
Ох, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?  
Ах, как мне, тиху Дону, не мутно течи!  
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют!  
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Но потом, чем дальше будет читатель углубляться в мир образов и картин «Тихого Дона», тем больше будет убеждаться, что старая казачья песня и предваряла и вручала ему, как безошибочный ключ, ту авторскую мысль, что тих-то он тих, батюшка Дон, но стоит все же получше всмотреться в его окривленные воды, вслушаться в его ропщущие волны.

Еще и в том заслуга Шолохова, что волной его произведений опрокидывается, смывается суррогатный хлам всяческих поделок, скороспелок, однодневок, которые, будучи иногда искусно закамуфлированы под литературу, подобно ложным самолетам на ложных аэродромах, обнаруживают свою фанерную и пластмассовую душу лишь при ближайшем сравнении и при

бомбардировке их из орудий реалистических творений литературы и искусства.

Все, что есть на Дону, нераздельно слито с именем и творчеством Шолохова, так же как все, что есть в Шолохове, так или иначе связано с Доном. И когда едешь по преображенной донской степи, в образах ли населяющих ее людей, в чертах ли пейзажа или в своей душе, растроганной обилием навеянных ей воспоминаний, неизбежно ищешь и находишь знакомое и созвучное миру шолоховской поэзии, миру, в котором живешь с детства. С годами это чувство не блекнет, не утрачивает своего обаяния и новизны, оставаясь юным, как юными остаются образы, вылепленные воображением художника, вдохновленного жизнью.

---

## ТОТ САМЫЙ МАРЦЕЛЬ

Пути приобщения к славе различны. Западногерманский журналист Марцель решил не обременять себя поисками наименее труднейших. Взвесив свои способности, он рассудил, что ему представляется единственная возможность добиться, чтобы на него указывали пальцем: «Тот самый Марцель!»

Как известно, летом 1964 года по приглашению Вальтера Ульбрихта и своих друзей из Союза писателей Германской Демократической Республики на немецкой земле побывал Михаил Александрович Шолохов. Не только в Советском Союзе и в ГДР, но и в других странах этот визит был воспринят как событие большой важности. Об этом говорит и тот прием, который был оказан Шолохову в ГДР, и тот резонанс, которым сопровождалась его поездка по стране в немецких органах печати. В газетах и журналах ее называли миссией мира и дружбы, а Шолохова — послом советской культуры, способствующим исчезновению горизонта культурных отношений между двумя народами туч, оставшихся от минувшей войны. Когда перелистываешь страницы газет и журналов, с удовлетворением отмечаешь то единодушие, с каким подошли к оценке этого события серьезные органы печати самых разнообразных направлений и на востоке и на западе Германии. При этом, освещая поездку Шолохова по ГДР, они не умолчали ни об одной из подробностей, которые свидетельствуют об уважении выдающегося представителя советской культуры к сизидательному гению немецкого народа. Ни о том, как Шолохов, живущий у себя на родине среди казаков-колхозников, и в ГДР побывал в сельхозкооперативе под Дрезденом и какое там впечатление произвела на него встреча с крестьянкой, которая в дни суровых морозов взяла к себе к дом телят, спасла их. Ни о посещении Шолоховым Дрезденской картинной галереи. Ни о словах его, сказанных в Веймаре «о великом немецком гении Гете».

Читая об этом, радуешься не только сердечности приема, оказанного автору «Тихого Дона», но и пониманию всей важности культурных связей в деле укрепления советско-германской дружбы, проявленному в эти дни на страницах немецких газет и журналов. И вдруг, перелистывая страницы западногерманской печати, наталкиваешься на заголовок: «Донской казак во фраке Гете». Автор — Марцель. Еженедельник «Ди цайт», № 25, Гамбург.

Впрочем, дело, конечно, не в заголовке. Очевидно, это все-го лишь игра слов с целью привлечь внимание читателей — на какие только ухищрения не идут издатели буржуазных журналов и газет во имя поднятия тиража! Тем более, что и начальные строчки статьи, следующие за броским заголовком, не обещают, кажется, что автор ее намерен продолжать в том же духе. «Михаил Шолохов, — пишет Марцель, — известный писатель Советского Союза, выдающийся эпический поэт русского языка, автор трилогии, относящейся к шедеврам современной мировой литературы, Михаил Шолохов, произведения которого переведены на 52 языка и тираж которых только в ГДР составил 1 175 000 экземпляров...» Что ж, все это правильно, как правильно, за исключением некоторых сведений, сообщаемых Марцелем о партийном стаже Шолохова (он член КПСС не с 1920, а с 1932 года), и следующие строчки этой фразы: «Михаил Шолохов — художник, знаменитость и национальный герой, коммунист с 1920 года и депутат Верховного Совета с 1937 года...» И вдруг Марцель заключает: «... Михаил Александрович Шолохов, великий казак с тихого Дона, ненавидит немцев».

Вот оно, оказывается, во имя чего велась вся эта артподготовка. Вот оно и есть то самое, ради чего автор и решил с первых же строк вытряхнуть перед читателями «Ди цайт» весь запас энциклопедических сведений о Шолохове, чтобы оглушенные ими читатели уже не посмели поставить под сомнение объективность Марцеля. После этого он может рассчитывать, что ему будут верить на слово.

Однако и самого доверчивого читателя трудно заставить поверить на слово, что автор одного из гуманнейших произведений современной литературы, романа «Тихий Дон», может испытывать чувство ненависти к какому-нибудь из народов. И самый наивный читатель, когда речь идет о таком обвинении, возводимом на Шолохова, может потребовать фактов. Чувствуя это, Марцель старается создать впечатление наличия у него таких фактов. Не располагая, конечно, ими, он обращает свой взор в прошлое.

В нашей стране и в других странах широко известен рассказ М. Шолохова «Наука ненависти», который он начал писать в те



дни, когда гитлеровские захватчики рвались к Москве. Не знаю, когда познакомился с этим рассказом Марцеля, но вспоминает он в Гамбурге об этом произведении Шолохова теперь: «Школа ненависти» — так называется один из его сборников фронтовых записок и рассказов, вышедший в 1942 году». На какой же при этом воспоминании вывод хочет настроить читателей «Ди цайт» Марцель? «Но его ненависть,— пишет он,— относилась и относится не только к немецким империалистам и фашистам, к капиталистам и реваншистам, рурским баронам и боннским ультра. Она относится просто к немцам».

Только что с пера Марцеля сыпались эпитеты: «выдающийся», «великий», «знаменитость», «национальный герой» — и вот уже с того же самого пера срывается нечто другое: «Это интуитивная, элементарная и дикая, почти животная ненависть».

Итак, оказывается, не вооруженный до зубов фашист преподавал советскому народу науку ненависти к оккупантам на подступах к Москве, а русский писатель Шолохов, повествующий о том, как усваивал эту науку советский народ. И если бы не было этого рассказа Шолохова, то и танки Гудериана, пожалуй, по доброй воле повернули бы из Подмоскovie обратно. А еще лучше, если бы Шолохов и озаглавил тогда свой рассказ не «Наука ненависти», а «Добро пожаловать».

При этом Марцелю нет дела до того, что автор «Тихого Дона» с самой сути своих убеждений не может питать чувства ненависти к немецкому народу. Достаточно перечитать страницы «Тихого Дона», посвященные первой мировой войне, где с чувством такого сострадания говорится о немецких и русских солдатах, ввергнутых германским кайзером и русским царем в империалистическую бойню, и с такой силой утверждается идея братания двух одетых в солдатские шинели народов на фронте. Только Марцель из еженедельника «Ди цайт» и может закрыть глаза на тот очевидный факт, что и в произведениях Шолохова о второй мировой войне речь идет не о науке ненависти к немецкому народу, а о науке ненависти к фашистским оккупантам, которые принесли с собой на советскую землю разрушения и смерть. Можно подумать, что в 1941 году, когда Шолоховым писался его знаменитый рассказ, не гитлеровские офицеры рассматривали в подзорные трубы башни Московского Кремля, а советские офицеры наводили свои бинокли на купол берлинского рейхстага. И, разумеется, по мнению Марцеля, словами дружбы и приветия должен был в те дни встречать захватчиков писатель, которого называют совестью своего народа.

Не знаю, был ли когда-нибудь Марцель в Советском Союзе, но если даже не был, это не мешает ему ненавидеть народ Шолохова «интуитивной, элементарной, дикой и почти живот-

ной ненавистью», сравнимой лишь с ненавистью того фанатика, который летом 1942 года сбрасывал с самолета бомбы на дом автора «Тихого Дона» в станице Вешенской. Только однажды видел я слезы на глазах у мужественнейшего из писателей наших дней — это когда Шолохов рассказывал, как после бомбежки собирали у него во дворе останки той, что дала ему жизнь, была для него дороже всех в жизни...

Но поскольку и самый доверчивый читатель «Ди цайт» может не поверить, что приписываемое автору «Тихого Дона» чувство ненависти заставило его теперь приехать в гости к немецкому народу, Марцель спешит сообщить, что сделал это Шолохов не иначе как «под нажимом компетентных органов». Вот так прямо взяли, нажали на автора «Тихого Дона» — и он поехал. А до этого, как известно одному только Марцелю, «после 1945 года он упорно отказывался посетить Германию». Доподлинно известно Марцелю и то, что «все приглашения и старания ГДР были напрасны».

В пору подумать, что у Марцеля из гамбургской «Ди цайт» никаких иных забот нет, кроме забот об укреплении культурных связей Германской Демократической Республики с другими социалистическими странами, о повышении ее престижа на международной арене. Должно быть, только из этих побуждений и следует дальше Марцель на страницах «Ди цайт» буквально по пятам Шолохова, совершающего поездку по ГДР, старается навести тень на каждое его движение, каждое слово. Приехал Шолохов по приглашению своих друзей в ГДР — так нет, почему он не сделал этого раньше? На этот счет у Марцеля имеются самые проверенные сведения, начинающиеся в его статье, как правило, словами: «Говорят», «Если я не ошибаюсь», «Может быть»... Во что бы то ни стало он хочет выглядеть в глазах читателей «Ди цайт» объективным, а если то, что «говорили» ему, потом и не подтвердится, так ведь это же не он сам говорил, а ему говорили... «Говорят, несколько лет назад в Москве в ответ на приглашение посетить Германию «знаменитость равкнула» — и вот уже брошена тень на эту «знаменитость», как теперь называет Марцель автора «Тихого Дона». А сам Марцель остается в тени. «Может быть», Шолохов, приехавший в ГДР, «не собирается добровольно посещать вторую часть немецкой страны» — и тень становится гуще, а сам Марцель еще глубже отступает в тень.

И все, к чему он прикасается своим пером, немедленно искажается, обезображивается так, что сама правда становится ложью. Побывал Шолохов после посещения Дрезденской галереи в гостях у немецких крестьян — Марцель комментирует: «Вначале мы вдыхали в картинной галерее специфический за-

пах, присущий каждому музею, а затем отправились в сельскохозяйственный производственный кооператив «Ам Гейдеранд» в Клотцше под Дрезденом. Больше всего высокому гостю понравилась заготовка навоза». Произносит Шолохов в Веймаре в доме перед витриной, где хранятся фрак и пальто автора «Фауста», слова о бессмертии гения Гете — и Марцель не останавливается перед тем, чтобы вокруг этого факта затеять нечистоплотную игру слов: «Донской казак во фраке Гете».

У гостеприимства свои законы. Зная, что на родине Шолохова часто можно видеть с удочкой на берегу Дона рядом с другими станичными рыбаками, его друзья из ГДР пригласили гостя порыбачить и в саксонской Швейцарии. Казалось бы, что можно сказать по этому поводу, кроме того, что и на немецкой земле умеют встречать гостей с не меньшим радушием, чем на русской. Когда, скажем, приезжал в гости к автору «Тихого Дона» его английский друг писатель Чарльз Сноу и Шолохов тоже ездил с ним на рыбалку, никому потом в Англии в голову не пришло над этим глумиться. Но Марцель из гамбургской «Ди цайт» и здесь закидывает свой спиннинг. О том, что вместе с Шолоховым ездили в саксонскую Швейцарию его друзья из ГДР, писатели и другие деятели культуры, он сообщает: «В саксонской Швейцарии Шолохов рыбачил в сопровождении заведующего отделом культуры при ЦК СЕПГ и первого секретаря Союза писателей».

Всего лишь одно слово «в сопровождении» — и оттенок иной. А раз так, то почему бы еще раз не прибегнуть к тому же приему? Оказывается, всего лишь одним-двумя, будто бы невзначай вставленными словами можно достигнуть перекоса. Скажем, о том, что гость приехал в немецкое издательство, можно написать: «В тот же день Шолохов оказал честь издательству, выпустившему его книги в немецком переводе», — и тут же попытаться унизить своих соотечественников из ГДР: «Все сотрудники издательства выстроились «как почетный караул» в фойе». Не как-нибудь иначе встречали гостя из Советской страны, а выстроились. Одно-единственное слово — и, нате, получайте от Марцеля в отместку за те знаки уважения, которые вы посмели оказать автору «Тихого Дона».

Итак, Шолохов, который посещает сельскохозяйственный кооператив в ГДР и находит там язык сердечного взаимопонимания с немецкой женщиной-крестьянкой, ненавидит немцев, а Марцель, который глумится над немецкими крестьянами, заготавливающими навоз для своих полей, пылает к ним любовью. Автор «Тихого Дона», отдающий дань глубочайшего уважения автору «Фауста», делает это, оказывается, потому, что «принадлежит к числу тех крупных писателей, высказывания которых

в речах, статьях и интервью свидетельствуют не о высокой интеллигентности, а скорее о своего рода наивности и ограниченности», а Марцель, грязнящий на страницах «Ди цайт» крупнейшего писателя современности, гостя немецкого народа, стоит на высотах культуры. Шолохов, приехавший на германскую землю с сердцем, открытым для дружбы, всего лишь «соблаговолил нанести визит», а он, Марцель, который воспользовался этим визитом, чтобы оклеветать Шолохова, сделал это из любви к советскому народу.

Даже факт посещения Шолоховым в Трептове памятника советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, и «скорбное молчание» писателя преподносятся читателям «Ди цайт» все в том же глумливом тоне: «В дальнейшем тоже соблюдался принятый в ГДР во время государственных визитов ритуал». Одно только слово «ритуал» — и русскому писателю уже отказано Марцелем в праве на скорбную память о своих соотечественниках, отдавших свои жизни в боях с фашизмом. Мол, не по велению сердца в скорбном молчании стоит автор рассказа «Судьба человека» и романа «Они сражались за Родину» Михаил Александрович Шолохов у памятника советским воинам в Трептове, а по предписанию ритуала. Таковы нравы в редакции гамбургского еженедельника «Ди цайт».

Но в заключение своей статьи Марцель еще раз позволяет себе акт великодушия. Пусть все видят, как он объективен. «Но что бы ни думали о Михаиле Александровиче Шолохове, казак с тихого Дона, я настоятельно рекомендую прочитать его трилогию, которая вышла в ФРГ в 1960 году (издательство Пауля Листа, Мюнхен).

Это «но что бы ни думали» в устах человека, который приложил столько стараний, чтобы возбудить у западногерманских немцев ненависть к автору «Тихого Дона», поистине стоит тех марок, которые были отсчитаны Марцелем в кассе еженедельника «Ди цайт». Марцель упорно хочет выглядеть джентльменом, человеком со вкусом. Вылил на гостя ушат клеветы, и можно побрызгать на него водичкой. Прием все тот же, но при частом употреблении он может подвести. У снисходительно перелистывающего страницы «Тихого Дона» Марцеля вдруг вырывается: «Между прочим, речь идет не о книге ненависти».

И это «между прочим», по его излюбленному выражению, тоже «стоит золота». Все же опасается он, что читатели «Ди цайт», не поверив ему на слово, захотят сами обратиться к «Тихому Дону» и узнают о чувствах, питаемых Шолоховым к немецкому народу, нечто совсем противоположное тому, в чем

их только что пытался убедить недобросовестный журналист Марцель.

Когда немецкие крестьяне занимаются заготовкой навоза на своих полях, это пахнет урожаем. Когда же этим занимаются на страницах гамбургского еженедельника «Ди цайт», это пахнет иначе. Каждому честному человеку ничего другого не остается, как отвернуться, зажав ноздри.

Тем не менее отныне Марцель может считать, что прославился. Теперь уже читатели «Ди цайт» наверняка не забудут, с чем связано его имя. «Тот самый Марцель, который клеветал на великого русского писателя Михаила Шолохова». «Тот самый Марцель, который позволил себе затеять грязную возню вокруг посещения автором «Тихого Дона» музея автора «Фауста». «Тот самый Марцель, который не прочь бы опять посеять семена вражды между немецким и советским народами, настроенными жить в мире и дружбе».

---

## О ЧЕМ СКРИПЕЛИ ПОРОЖКИ

Хочу сразу же повиниться перед читателем, что впервые решаюсь прибегнуть к тому, что еще вчера считал невозможным для себя: как это можно и не кошунственно ли, чтобы слово по слову, только что найденные тобой, тут же и диктовались на валик пишущей машинки, а то и на ленту магнитофона... Вот так «едва разжав уста» и накручивались на валик или на пленку. А вот уже они и падают на ротацию.

Но что же делать, если, оказывается, иногда наступает момент, когда невозможно не поделиться с читателем немедленно, не откладывая ни на миг? Иначе самые дорогие, горячие краски твоего чувства могут безвозвратно исчезнуть, осыпаться, как уже осыпается с ветвей придорожных лесополос эта желтая, красная и всех иных оттенков листва вдоль всего пути с Нижнего Дона на Верхний, в Вешки. Конечно же, только единственный раз и можно позволить себе изменить правило, чтобы каждое слово, прежде чем лечь в строку, было и выношено и взвешено, как свинец на ладони.

Ну, а если вдруг явственно ощущаешь в себе, как эти слова, не дожидаясь, когда их начнут отбирать, сами поднимаются откуда-то из глубины сплошным потоком и уже несут тебя? Вскоре вдруг ловишь себя на том, что это и есть самые единственные слова и что если теперь отказаться от них, то свободнее в выражении этого чувства ты уже не будешь. Потом придут другие, может быть, и эти же самые, но уже как бы похолодевшие слова, и что-то будет утрачено такое, чего уже не вернуть. Возвращается и листва на ветви деревьев и, может быть, еще более буйная, но она уже старше т о й. А поэтому и спешу вслушаться в молодой лиственный шум этих слов и успей подхватить их во всей их неповторимости хотя бы один-единственный раз в жизни, пока они еще не отлетели с ветвей твоего чувства.

Но почему же один-единственный, если та самая машинистка армейской редакции, которая и сейчас рядом, сразу же мо-

жет напомнить, как мы, военные корреспонденты,— тот же Виталий Закругкин и тот же Петр Никитин, которого теперь уже нет, приезжая из-под Таганрога или Матвеева Кургана, будили тебя среди ночи и иногда с листка блокнота, а случалось, и прямо так диктовали на машинку то, о чем нельзя было не сообщить бойцу-читателю немедленно, что необходимо было ему так же, как обойма патронов в магазине автомата или снаряд в стволе пушки, а то и клинок в ножнах. Да и потом разве не приходилось тебе печатать прямо из уст военного корреспондента оперативные заметки из-под Моздока, из-под Мариуполя, из-под Севастополя, из казачьего корпуса, с борта катера-охотника и с артбатареи?! А иногда и минуя твою машинку, устремлялись они сразу к прямому проводу на армейском, на фронтовом узлах связи, и вот так, из живых уст среди шифровок, оперсводок, боевых донесений и приказов из «изумруда» в «яхонт» шли с переднего края в Москву, чтобы там сразу же лечь на ротацию, а с ротации разойтись по стране.

Да, но ведь то было другое время. Тогда и отдавали и опять отбирали, отвоевывали у врага село за селом, город за городом, падали и вставали из руин боевые крепости, а теперь совсем чистое небо над головой и золотая донская осень тихо слетает на землю. Все крепости давно отвоеваны и уже воздвигнуты творческим гением народа новые. Как бы скорбно ни склонялись головы у холмов минувшего, все время около них не простоишь, надо идти дальше. Давно пришло и время отстоявшихся, обдуманных, выношенных слов. Той самой медлительной и полновесной поступи в строке, о которой не однажды говорил и он, только что своим коротким взмахом руки проводивший нас в обратный путь со ступенек своего дома в Вешках.

Но тогда опять скажи ты, бывшая машинистка армейской редакции: разве мы только что не побывали тоже в крепости и тоже только что взятой, завоеванной ценой предельного напряжения сил, ума и сердца? И вот так же, как те, военной поры, еще дымятся ее стены... Потому что, кроме тех, которые воздвигаются гением народа из бетона и железа, есть еще и другие, не меньшей прочности крепости, воздвигаемые там из живой плоти человеческого духа.

Но все же надо по порядку. С чего это начиналось, назревало и как однажды дошло уже до того, что нитью стремительной дороги, рассекшей степь, не могли не соединиться нижний и верхний концы огромной излучки Дона, как тетивой, на которой, если бы взглянуть сверху, все ее извивы и зигзаги — это всего лишь трепетная дрожь от могучей стрелы, пущенной в высокое степное небо.

До этого долго было не вспомнить, откуда он вдруг взялся и так неотступно преследует, этот мотив: «Знакомый до боли скрип порожков...». Как знакомый, когда могло состояться это знакомство? И с чем оно связано, если вдруг так прихватывает сердце? И дома, когда войдешь в густую тишину уже осенних, но еще не стряхнувших свои гроздья донских чаш виноградного сада; и когда с хutorского яра взглянешь утром на Дон, а он в это время всегда как будто дымится, серебряно падит. Почему-то этот «скрип порожков» и посреди ночи может разбудить, а иногда словно бы музыкой отдастся в ушах.

Так это же оттуда, с той самой страницы, где Григорий Мелехов возвращается домой в хutor Татарский после долгой отлучки и после, казалось бы, полного разрыва с Аксиньей:

«Знакомый до боли скрип порожков — и Григорий на крыльце. Постаревшая мать подбежала с живостью девочки, вымочила слезами петлицы шинели и, неотрывно обнимая сына, лепетала что-то свое, несвязное, не передаваемое словами, а в сенцах, цепляясь за дверь, чтобы не упасть — стояла побледневшая Нагалья, мучительно улыбаясь, падала, срезанная беглым растерянным взглядом Григория».

И этот скрип порожков, и радость, и боль никогда не переставали звучать в тебе, хотя иногда и отходили куда-то вглубь, как будто плескаясь, согревая душу. Но почему же теперь они вдруг с новой силой поднялись с ее дна и приобрели эту могущественную власть, которой опять предаешься с той же радостью, что и прежде? И когда из листвы донских чаш выглядываешь на Дон, то как будто воочию различаешь под крутизной обрыва ту самую струю, которая по пути сюда уже обласкала тот взметнувшийся над Задоньем яр у Вешек. Сейчас Дон по-осеннему тих, спокоен, а ранней весной, когда взломается он, трутся об этот вешенский яр, как большие рыбины, ластятся к нему льдины. Крыгами их называют у нас.

Так вот куда и зовет и неудержимо влечет эта знакомая до боли музыка, скрип порожков.

Сразу же надо и объяснить читателю, что не такой уж автор этих строк частый гость в станице Вешенской, совсем не частый. Всего лишь два раза до войны и столько же после войны. Да и обязательны ли эти частые наезды, если и без того там всегда часть твоей жизни! И не кощунство ли надеяться, когда и без того там всегда толпятся, уже почти не остается у него, живущего в этом взметнувшемся над Задоньем доме, ни единого часа, кроме самых ранних, предрассветных и рассвет-



ных, для того полного уединения, без которого не набрать силы для нового взлета!

Но все же наступает и эта минута — не случайно скрипели порожки. И по-человечески соскучился, ведь нельзя же всерьез принимать те мимолетные соприкосновения где-нибудь на писательском съезде в Москве или на пленуме в Ростове, когда все его окружают и он все-таки как-то одинок посреди всеобщей любви. И даже те встречи, когда из номера ростовской гостиницы вдруг раздастся на ранней заре звонок в хутор и ты примчишься, а там опять кружение. Все люди — хорошие, и каждый он рад, но ведь много на свете хороших людей.

И никогда или почти никогда не услышать при этом от него того единственного слова, которое может принадлежать только ему. То есть у него вообще не бывает случайных слов, но всегда как-то трудно и больно посреди всеобщего гула и ропота вслушиваться в их смысл. Вот почему и наступает эта минута, когда уже не можешь больше устоять перед «скрипом порожков». Тем более, что откуда-то нарастает еще и уверенность, что эта будет самая главная из встреч, без нее никак нельзя. Донесся уже оттуда, от него, и шорох его новых страниц, тех самых, которых все так ждут...

А раз так, то пусть и эти руки с клавиш машинки переключаются на руль, и махнем, мой друг, через антрацитовые степи ростовского угольного бассейна и через земли миллеровщины с Нижнего Дона на Верхний. И хоть эта натянувшаяся между концами донской излучки тегива автострады уже совсем не та дорога, по которой Григорий Мелехов возвращался из своих странствий домой на арбе с Зовуткой, не те и села, хутора, станицы по правую и по левую руку от нее, а все же это та самая степь. Все тем же, поднимающимся откуда-то из глубин твоей юности очарованием все больше охватывает она, сжатая, распаханная, позолоченная осенью и прошитая щетинкой озимых. На перекрестке, на пьедестале стоит танк, вздыбившись, как для броска вперед.

Все громче в ушах шорох еще не знаемых тобой, но уже написанных там, на вешенском крутобережье, новых страниц о тех, кто сражался за Родину. Какими они будут, эти новые главы, удастся ли на них взглянуть? Нет, конечно, они не могут обмануть наших надежд, недаром они вынашивались столько лет, а все же тревожно.

Вот и стрелка направо от дороги на его родину — на хутор Кружилин. А это же тот самый лес, по которому, помните, шла весной Аксинья. «На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть» и «...уловила томительный

и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кустом...

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспоминалась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолоду плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?»

Но, оказывается, он, этот подступивший к горлу комок памяти, не только из женского сердца вдруг может выжать слезы. И уже не под ногами Григория, но все так же явственно звучит этот «знакомый до боли скрип порожков».

— Здравствуйте, Михаил Александрович.

— Ну вот, пообещали к двенадцати часам быть и как раз успели. Мы с Марией Петровной не хотели сами садиться за стол.

Многое, очевидно, можно было бы рассказать и об этих первых минутах встречи и о той удивительной атмосфере любви, которая сразу же охватывает в этом доме. О разговорах за столом и в этот раз, и вечером, и уже наутро, перед отъездом домой, по-шолоховски всегда метких и дружелюбных характеристиках людей, его неповторимых шутках и той глубочайшей серьезности, с которой он умеет слушать других... Только люди, не чувствующие Шолохова, могут и не знать, как он бывает бережен в своем отношении к человеку, как одновременно прост и изящен его разговор. И все это было бы интересно читателю, как и многое другое из его повседневной жизни, но другие обо всем этом сумеют лучше написать. Не только ведь ради этого из музыки порожков выросло предчувствие, что эта встреча из всех непременно станет главной. И ответ на это предчувствие не в той ли самой зеленовато-серой папке, за которой он вдруг так охотно, легко поднимается по лестнице к себе наверх, чтобы, спустившись оттуда, протянуть ее с доверчивой простотой:

— Успеешь прочитать до шести?— И он взглянул на часы: — Сейчас уже половина второго.

— Думаю, что успею.

— Ну, так, значит, опять встречаемся в шесть... или в семь.

И здесь вдруг я впервые уловил у него в глазах что-то детское и даже виноватое — это у Шолохова, всегда столь естественно свободного, непринужденного в каждом своем слове и жесте. Что-то нетерпеливое и, я бы даже сказал, стыдливое — это у него, наимужественнейшего из писателей наших дней.

Какую-то даже застенчивость, о которой однажды говорила мне его старшая дочь — Светлана.

Вечером у него в доме за столом мне опять вспомнилось все это, когда он, немного примолкнув во время разговора, обронил:  
— Да, пора уже мне с чем-нибудь выйти.

Так и сказал: «с чем-нибудь», — подумав, должно быть, о тех самых новых главах романа «Они сражались за Родину», которые он принес сверху и протянул в этой зеленовато-серой папке. А это «что-нибудь», едва лишь папка раскрыта, уже не шестит и не шуршит, перелистываясь страница за страницей, а начинает все больше греметь в сердце. И вскоре уже ты отказываешься себе представить, как ты мог жить без всего этого, не зная этого и не предполагая, что оно может быть. А оно уже есть и теперь уже все более властно вторгается в твою жизнь, раздвигает ее... Перелистываются страницы и гремят, гремят. А за окном вешенская осень, взад и вперед ходят мимо окон люди, ничего еще не зная об этих страницах, и после того, как под колесами автомашин дощатые клавиши понтонного моста через Дон поиграют что-то бурное, еще тише станвится на воде, над песчаными берегами, в задонском лесу. В том самом, помните, где так и уснула одурманенная запахом ландыша и своими воспоминаниями Аксинья.

С крутого яра смотрит на курчаво-зеленое Задонье своими окнами дом, в котором было выстрадано и отлито в слова все то, что теперь открылось и тебе.

Вот так же тихо, безоблачно было и тогда, в те давно и, казалось бы, навсегда отступившие в прошлое, а теперь вдруг опять стремительно приблизившиеся и глянувшие на тебя с этих страниц глазами твоей молодости дни нашей предвоенной жизни. И если в доме у Николая Стрельцова, с которым читатель уже знаком был по «военным» главам романа «Они сражались за Родину», назревает семейная драма, то ничто вокруг еще не предвещает той большой и неслыханно тяжелой драмы, трагедии, в которую вскоре ввергнуты были вся наша страна, весь народ. Какими сразу после этого маленькими, мелкими оказались все наши личные драмы, конфликты!

Но пока для агронома Николая Стрельцова ничего нет важнее, значительнее и трагичнее того конфликта в его взаимоотношениях с женой Ольгой, что давно уже исподволь назревал под покровом благополучия их семейной жизни и вот-вот должен прорваться наружу. И все же: «Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив

поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

Его молодая жизнь еще только начинается, и, несмотря ни на что, весь он исполнен безотчетной уверенности, что все самое лучшее у него впереди. Хотя здесь же и сталкивается лицом к лицу с живой реальностью, омрачающей небосклон его семейной жизни,— с тем, кто является виновником его почти неизбежного разрыва с Ольгой.

«Мир стал странно немым, начисто лишился звуков», когда Николай увидел его «...всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накиннутый на широкие ладные плечи, видел разъезжавшие по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах». Таким этот человек и сохранится потом «в памяти Стрельцова на всю жизнь как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом». Да еще и весело блеснувшего зубами, поравнявшись с Николаем: «— Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развязло! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забубльало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней будто пудовая гирия».

Нет, не будем и дальше цитировать, нельзя читателя новых глав «Они сражались за Родину» лишать чувства первоизданного восприятия шолоховского текста, а если кое-где и позволим себе еще обратиться к тексту романа, то лишь потому, что сам же Михаил Александрович пресек все наши колебания и сомнения своим удивленным вопросом на вопрос об этом:

— А почему бы и нет?

То, что им только что написано, так широко захватывает предвоенную жизнь, что никакие извлечения из текста не могут потом помешать свежести, цельности восприятия всего полотна, развертываемого перед читательским взором... Вот уже и плеть в руке у Николая Стрельцова почти готова опуститься на голову того, кто сейчас представляется ему самым смертельным врагом из всех, какие только могли бы встретиться

ему в жизни. Но и эта плеть не опустится, и не личная драма, сколько бы значительной ни казалась она самому Николаю, станет главной драмой его жизни. Неизвестно, встретится ли еще когда-нибудь он со своим обидчиком, но наверняка можно сказать, что не он окажется для Стрельцова тем самым врагом, который хотел бы затмить ему, как и миллионам других людей, солнце жизни. На жизнь Николая и на жизнь миллионов других людей со всеми их драмами и конфликтами вскоре надвинется, совершенно изменив ее, та, другая — народная — драма, отдаленные молнии которой уже как бы начинают пробегать по страницам этих новых глав романа, возвращающих читателя к тихой, безоблачной поро предвоенной, мирной жизни. Но уже и тогда, напоминает Шолохов, самых зорких и чутких сердцем не обманывала эта тишина. А еще точнее сказать, тех, кто в свое время выстрадал ее своей кровью, всей своей жизнью и теперь уже никогда не сможет избавиться от тревоги, как бы не было поставлено под удар, утрачено все то, за что было заплачено такой ценой. Как первый просверк молнии на этих новых предвоенных страницах романа Шолохова — приезд к Николаю Стрельцову его старшего брата, Александра.

Если до этого и сомнений не могло возникнуть, что опубликованные уже главы романа «Они сражались за Родину» и есть начало эпического полотна о войне, то теперь, после того, как прочитаны эти предвоенные главы, со столь же непоколебимой уверенностью берусь сказать, что только с этих глав и мог начинаться роман. Иначе так и не дано было бы нам опять ощутить и все могучее очарование той жизни, которой жила тогда наша страна, и всех тех ее радостей, перемежаемых страданиями, не узнав которых нельзя понять ни причин наших первых поражений, ни источников всех последующих побед. А всего-то, казалось бы, и встречаются два брата Стрельцовы после долгой разлуки, радуются тому, что опять они могут побыть вместе, ловят рыбу и ведут между собой разговор, — им есть о чем поговорить. Старший Александр совсем недавно вернулся из мест, как говорится, не столь отдаленных. Убежденный коммунист, которого уже ничто, ни самые горчайшие испытания, выпавшие на его долю, не смогут свернуть с избранного пути. Оттого, что бывают затмения, солнце не перестает быть солнцем. Для Александра Стрельцова дело его партии — это, собственно, он сам, вся его жизнь. Весь какой-то неброский и вместе с тем самобытный, целомудренно собранный, даже галантный, он, живя в семье у младшего брата, как бы вдвигает собой жизнь этой ослепленной тучами назревающей драмы семьи и, не прилагая к тому

усилий, привлекает к себе сердца всех, начиная от маленького Николки. С его приездом повеселел не только сам Николай, но даже Ольга и мать Ольги. Но если бы только это! Давайте тоже присядем рядом с братьями на берегу реки у огня, на котором варится уха из рыбы, только что наловленной Александром,— одни лишь страницы, посвященные этой рыбной ловле, осчастливили бы другого писателя. Присядем и послушаем, о чем говорит своему младшему брату и что старается внушить ему этот человек, только что прошедший через поле тягчайших испытаний:

«— ...И какой же народище мы вырастили за двадцать лет! Сгусток человеческой красоты. Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде — простота, и «краснодеревщики не слали мебель на дом». Не в этом у всех нас была цель в жизни! Да разве только в армии вырос такой народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь, бывало,— и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем и хребет ломаем!

Жили мы тогда, как в сказке! Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя! Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые — девушкам, но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были! Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему! — Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только по тому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение.— Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призывали на территориальные сборы,— у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей! Ей-богу, не вру, не фантазирую! Пронись Суворов да побывай на наших учениях,— он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки!

Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски! Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкова, или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел! Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса! Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил, тоже ребята — дай боже! Не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша, — это будь спокоен, завтрашние полководцы, без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им — цены нет! Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев... А посмотреть — муху не обидит, милый скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей...»

Вижу, читатель, как и вы тоже вздрогнули при этих словах: «Саша Родимцев». Уж не сражались ли вы под начальством комдива Александра Родимцева в Сталинграде? От меня не укрылись ни ваш трепет, ни жар смуглой бледности, прихлынувший к вашему лицу. Но если это и не вы сами воевали под начальством Родимцева, то наверняка ваш старший брат, или отец, или даже дед, которые так и не вернулись оттуда. Недавно я прочитал, что из тех, кто сражался за Мамаев курган, почти никого не осталось в живых. Это их оплакивает теперь рекевием, неумолчно звучащий на склонах кургана, куда тянутся отовсюду люди. Значит, и вы, вздрогнув, почувствовали, куда в шолоховском романе могут привести братьев Стрельцовых дороги войны. Конечно, из глав, уже опубликованных, вы могли догадаться, что младший Стрельцов должен прийти в Сталинград. Но со старшим, генералом, вы встретитесь на страницах романа только теперь, в новых главах, и, кто знает, не встретитесь ли вы с ним еще и потом, на сталинградской земле. Еще пишутся Шолоховым главы о Сталинградской битве.

А пока братья Стрельцовы на рыбалке, варят уху и разговаривают у костра. Как же это можно так написать! Да это же, конечно, сам Шолохов и любовался сазаньим боем на Дону, на Хопре, и закидывал леску, и подсекал рыбину. А случилось, срывалась она у него с крючка, и так же по-детски радовался он, вытаскивая ее, как теперь радуется Александр Стрель-

цов, и печалился, когда она уходила от него, чтобы потом посмеяться вместе с другими рыбаками у костра над самим собой. Вот так же перешучиваются братья Стрельцовы. Но тут же подспудно не прекращаясь, проходит берегами их сердец другая, напряженная жизнь, лишь изредка прорываясь наружу. О тяжелом и подчас страшном они говорят между собой, и все-таки старший брат старается перелить в младшего всю свою так и не омраченную никакими преходящими обстоятельствами, чистую любовь к земле, к своему народу. И это еще скажется, скажется потом. Впрочем, мы уже знаем, как это сказалось: до этого мы встречались уже с младшим Стрельцовым на военных страницах романа «Они сражались за Родину».

Здесь же, на этом тихом берегу, у рыбацкого костра, ничто пока не предвещает, что вскоре им придется сражаться и отдавать за нее свою жизнь. Лишь старший, Александр Стрельцов, разговаривая с братом, нет-нет и даст ему между слов почувствовать, что необходимо быть готовым к самому грозному. И потом — опять ничем не нарушаемая благодать тишины, натягивает лесу рыба, пересыпанными юмором фразами обмениваются братья. Никогда еще им не было так хорошо, как теперь, после долгой разлуки. И вдруг:

«Из кустов белотала вышли двое, подошли к берегу. Николай, взглядевшись, сказал:

— Шюфер райкомовской машины и инструктор райкома Ваяня Петлин. Нет, тут что-то другое...

— Перевезите меня, Николай Семенович,— послышалось с того берега.

Николай молча спустился к лодке.

Только в прошлом году демобилизованный из Красной Армии старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околышку артиллерийской фуражки.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал.— И подал конверт.— Шифровка на ваше имя.

Александр Михайлович прочитал и, широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами:

— Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб приказывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков! Что ж, послужим Родине и нашей Коммунистической партии! Послужим и верой и правдой до конца! — Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.

Я завидую вам, читатель,— у вас эта радость еще впереди. Перед вашим взором еще развернется во всей своей силе шоло-



ховское полотно, посвященное и тому кануну войны, когда предгрозовое небо Родины только начинали озарять вспышки зловещих молний, и самой грозе. Полотно, населенное несравненной красоты, чистоты и мужества людьми, плоть от плоти своего великого, многострадального и несгибаемого народа.

Все масштабно у Шолохова, ничего нет воплолога, и в каждой строчке, в каждом слове все от имени той любви, которую пронесет в сердце через всю свою жизнь и старший Александр Стрельцов, и его младший брат — Николай, и их товарищи, с которыми они завтра плечом к плечу будут сражаться — и уже сражались — за свою социалистическую Родину.

Правда неприкрытая, ничего не утаивающая и этой своей предельной открытостью возвышающая дело партии, взрастившей таких людей, веру которых ничто не может убить.

Если даже все это вами самим было пережито, все равно как если бы впервые обступает вас эта жизнь, исполненная высоких страстей. И волнение новой встречи с этой жизнью, с суровой и прекрасной молодостью своей страны, с самим собой и своими товарищами объемлет сердце. Где бы вас, читатель, ни настигла эта радость, дарованная художником слова, — под крышей ли станичного домика, когда все уже давно покорены сном, только отблеск окна падает с яра на воду; в тайге ли в палатке геолога, когда с поворотом ручки радиоприемника вдруг донесется до вас и уже не отпустит от себя шолоховское слово...

И кто бы вы ни были, радость и гордость за свой народ с новой силой охватят вас вместе с благодарностью к художнику за новое приобщение к этому, казалось бы, уже отошедшему в прошлое и все-таки, оказывается, неувыдаемому, незабываемому, без чего мы все не были бы сегодня такими, какие мы есть.

Но и вы, читатель, должны мне позавидовать. К вам еще только должен прийти этот огонь по незримым проводам, протянувшимся от могучей ГЭС, на турбины которой падают воды тихого Дона у вешенского яра, а мое сердце уже вострепелось от этого огня. И что-то самое дорогое, что всегда есть у человека в сердце, вспыхнуло еще ярче. Отныне жизнь непременно должна будет измениться, как это всегда бывает, когда начинаешь равняться на ту, неизвестную до этого меру ответственности, которая только что открылась взору. Чем же и как отблагодарить его за это? Как и за эти слова:

— Почему же так быстро — и уже домой? Условимся отныне встречаться чаще.

Нет, совсем не быстро, а самое время, пора. И как бы ни были желанны эти встречи, какой бы неизгладимый след ни оста-

вила теперь в сердце и в памяти эта, может быть, самая главная, а чаще нельзя. Вон и сам он берет со стола присланные ему из Москвы, из архивов, пожелтевшие листки и вслух начинает читать опубликованное всего за неделю до войны, предназначенное тогда вселить в народ спокойствие и все же предельно тревожное Заявление ТАСС. И глаза его тут же украдкой скользнули в сторону, к порожкам лестницы, уходящей наверх, в ту самую комнату, где он остается наедине с самим собой. В три часа и никак не позже четырех часов утра он всегда встает, и никто не вправе нарушить это его уединение, никто.

— До свиданья, Михаил Александрович...— Дальше не идут слова. Какие еще могут быть слова?!

Только он, должно быть, спустившись с порожков, и умеет вот так улыбнуться и взмахнуть рукой, провожая в путь.

Но тебя, бывшая фронтовая машинистка, я все-таки решаюсь нынче разбудить, хоть и жаль это мне и нелегко тебе просыпаться и садиться за машинку после трехсот пятидесяти километров за рулем туда и трехсот пятидесяти обратно. И утро еще совсем раннее, край солнца высунулся из-за островных верб на Дону, и сам Дон, как всегда в это время, красновато дымит, серебряно чадит, пробуждаясь. Но читатель не должен ждать. И в армейской редакции, помнишь, тебя будили еще раньше, часто прямо среди ночи, когда военные корреспонденты приезжали с передовой из-под Самбека, с высоты 101, из дивизии Аршинцева, из корпуса морской пехоты, и тебе нередко приходилось спать не раздеваясь, в гимнастерке и в юбке.

Не правда ли, в чем-то мы совсем другими стали с тобой за это время — меньше чем за два дня,— после того, как прочитали эти страницы. В своей жизни мы еще не раз вернемся к ним, но этого уже не забыть. И мы обязательно будем жить отныне как-то еще и по-новому всматриваясь в людей, видеть в их лицах и сердцах что-то такое, чего не видели прежде. А читатель, если и взыщет за то, что вот так, с дороги, из уст прямо на валик машинки, то все же поймет, что нельзя было это отложить. Это ведь тоже с передовой.

Из белесой дымки утра все ярче выступают осенние краски виноградных садов, береговых верб. Все тот же самый Дон оmyвает их корни, который там, в верховьях, ластитя к вешенскому яру.

*Сентябрь 1968 года.*

---



**ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 3-ПРОЦЕНТНОГО ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА ЯВЛЯЮТСЯ УДОБНОЙ И ВЫГОДНОЙ ФОРМОЙ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ.**

По облигациям займа выплачивается доход в виде выигрышей.

**Ежегодно проводится восемь тиражей выигрышей: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30 декабря.**

В тиражах выигрышей на один разряд займа разыгрывается следующее количество выигрышей:

Размер выигрыша на двадцатирублевою облигацию (включая нарицательную стоимость облигации)	Разыгрывается			
	В одном тираже		Всего за год в 8 тиражах	
	количество выигрышей	сумма выигрышей (рублей)	количество выигрышей	сумма выигрышей (рублей)
5 000 рублей	2	10 000	16	80 000
2 500 рублей	5	12 500	40	100 000
1 000 рублей	20	20 000	160	160 000
500 рублей	109	54 500	872	436 000
100 рублей	750	75 000	6 000	600 000
40 рублей	8 514	340 560	68 112	2 724 480
<b>Всего:</b>	<b>9 400</b>	<b>512 560</b>	<b>75 200</b>	<b>4 100 480</b>

Вероятность выигрышей по облигациям займа увеличивается с каждым тиражом, поскольку количество выигрышей, разыгрываемых в тиражах, остается неизменным до конца срока займа, а выигравшие облигации погашаются при выплате выигрышей и в дальнейших тиражах не участвуют.

**ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ.**

Управление гострудсберкас  
и госкредита  
РСФСР